

Е. В. Тарле

РОССИЯ и ЗАПАД

из неопубликованного
и забытого

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Санкт-Петербургский научный центр
Объединенный научный совет по общественным и гуманитарным наукам

Е. В. Тарле

РОССИЯ И ЗАПАД
Из неопубликованного и забытого

Подготовил к печати Б. С. Каганович



Санкт-Петербург
2020

УДК 94
ББК 63.3
Т20

Тарле, Е. В.

Т20 Россия и Запад : Из неопубликованного и забытого / Е. В. Тарле ; [сост., подгот. к печати, вступ. статья и коммент. Б. С. Кагановича]. — Санкт-Петербург : ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2020. — 528 с. : порт.

ISBN 978-5-86007-937-3

В книге собраны неопубликованные и забытые работы одного из крупнейших историков XX в. академика Евгения Викторовича Тарле (1874—1955). Вошедшие в нее тексты — они посвящены истории Западной Европы и России нового времени — писались на протяжении полувека, с начала 1900-х гг. В их числе работы большого блеска, сохраняющие ценность и в наши дни: «Екатерина Вторая и ее дипломатия», «Три катастрофы», «Англия и Турция», «М. А. Бакунин», очерки о русских и западных историках. Кроме того, в книгу вошли публицистические статьи Тарле 1917 г., мемуарные материалы, доклады, выступления на защитах диссертаций. Часть этих текстов печатается по подлинникам, хранящимся в архивах, часть извлечена из старых журналов и газет. Завершают том яркие и впервые полностью публикуемые воспоминания о Тарле его друга, писателя и переводчика Е. Л. Ланна. Книга предназначена историкам-специалистам и широкому кругу читателей, интересующихся историей.

The volume comprises unpublished and forgotten works of academician Evgenij Viktorovich Tarle (1874—1955), one of the most prominent Russian historians of the XX-th century. The works included in the volume cover half a century period, starting from 1900-ies and are devoted to the history of West Europe and Russia. Among them, there are some brilliant works that are still of great scientific significance: Catherine II and her diplomacy, Three catastrophes, Britain and Turkey, M. A. Bakunin, essays devoted to Russian and foreign historians. Besides, the volume presents newspaper articles written in 1917, memoirs, speeches, i. e. the ones made during theses defenses. The publication is partly based on original archival texts, whereas other materials have been found in and extracted from old newspapers and journals. The volume also includes E. L. Lann's memoir of E. Tarle's life. The book aims at historians as well as general readership keen on history.

УДК 94
ББК 63.3

Все права защищены. Никакая часть книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая фотокопирование, размещение в Интернете и запись на магнитный носитель, без письменного разрешения владельца. Цитирование без ссылки на источник запрещено. Нарушение прав будет преследоваться в судебном порядке согласно законодательству РФ.

ISBN 978-5-86007-937-3

© Лосиевский И. А., наследник, 2020
© Каганович Б. С., подготовка издания,
вступительная статья, комментарии, 2020
© Бакланова А. П., дизайн обложки, 2020
© ООО «ДМИТРИЙ БУЛАНИН», 2020

Содержание

<i>Борис Каганович. Наследие Тарле</i>	5
Статьи и исследования	18
Очередная задача	18
Три катастрофы. Вестфальский мир. Тильзитский мир. Версальский мир	40
Англия и Турция. Исторические корни и развитие конфликта	92
Екатерина Вторая и ее дипломатия	164
Очерки и воспоминания	257
М. А. Бакунин	257
Воспоминания об учебе в Херсонской гимназии	272
Архивы Запада	276
Теодор Шиман. 1847–1921	299
Заметки и рецензии	322
Н. И. Кареев (к 40-летнему юбилею его научной деятельности) ...	322
Историки вчерашнего дня (Памяти В. Я. Богучарского)	327
Карл Лампрехт	329
М. М. Ковалевский — историк и социолог	333
[Рецензия на книгу:] Раймонд Пуанкаре. 1914–1915. Воспоминания. Перевод с французского Ф. Капелюша. М., 1936	335
[Рецензия на книгу:] Harold Temperley. England and the Near East. Crimea. London, 1936	340
Еще о Талейране	344
Образы прошлого	347
Об историческом романе	351

Из публицистики 1917 г.	361
Выступления на защитах диссертаций	381
Выступление на защите докторской диссертации М. А. Гуковского «Механика Леонардо да Винчи» (4 ноября 1939 г.)	381
Выступление на защите докторской диссертации А. И. Молока «Революция 1830 года во Франции» (10 марта 1940 г.)	389
Выступление на защите докторской диссертации О. Л. Вайнштейна «Историография средних веков» (16 мая 1940 г.)	398
Выступление на защите докторской диссертации А. В. Предтеченского «Политические настроения в России в начале XIX века и их отражение в правительственной политике» (19 марта 1941 г.)	405
Отзыв о кандидатской диссертации А. Д. Люблинской «Гражданская смута во Франции после смерти Генриха IV» (1940 г.)	412
Е. Л. Ланн. Евгений Викторович Тарле	414
Комментарии	460
Указатель имен	486

Евгений Викторович Тарле

1

Больничная кровать. На ней, полуприкрытый темным шерстяным одеялом со светлыми стилизованными цветами, лежит красивый человек с черными усами, переходящими в короткую неподравненную бороду. Глаза у лежащего — большие, с черными ресницами — прикрыты, голова забинтована, и бинт, спускаясь по щеке, обвивает шею, резко контрастируя с черной бородой. Над головой, к белой спинке кровати, привязана наволочка, в ней, должно быть, резиновый мешок со льдом, который спускается на забинтованную голову. Обе руки лежащий выпростал из-под одеяла — хорошей лепки мужские кисти рук, одна из них слабо сжата, другая, совсем беспомощная, брошена на грудь. Голова повернута в три четверти, это голова красивого бедуина.

На обратной стороне фото — обычный текст дореволюционных открыток: «место для корреспонденции» над левой половиной, а над правой — пунктирный прямоугольник для наклеивания марки. Наверху, как полагается, напечатано «Всемирный почтовый Союз. Россия» с переводом на французский язык. Бедуин на больничной постели — «профессор истории СПб. университета Е. Тарле».

На черном фоне больничного одеяла эти слова, вытисненные белым шрифтом, сопровождаются еще одной строкой: «ПОСТРАД. 17 окт. 1905».

Итак, пятьдесят с лишним лет назад популярный молодой профессор истории Санкт-Петербургского университета Евгений Викторович Тарле на собственном горьком опыте познал истинный смысл манифеста в памятный день 17 октября 1905 г. Он шел в рядах студенческой демонстрации по улицам Петербурга, а затем... затем извозчицья пролетка доставила его в приемный покой больницы. Голова у него была разбита, тело исполосовано казачьими нагайками. Это была недурная иллюстрация к царским посулам в манифесте «незыблемых основ гражданской свободы».

Молодому магистру истории было тридцать лет. Уже тогда он был автором пяти монографий и многих десятков исследовательских статей. А к тому же являлся одним из наиболее популярных лекторов университета. На его лекции было нелегко попасть — Тарле слушали студенты

всех факультетов. Это был лектор «божьей милостью». Уже тогда он был отмечен даром, присущим только художникам устной речи: безошибочным «чувством времени», т. е. совершенным умением так распределять материал своей речи, что каждому из разделов лекции отводилось ровно столько внимания, сколько было необходимо слушателям для лучшего усвоения научной концепции и фактических данных. Казалось, будто этот красивый, слегка сутулый молодой бедуин с орлиным носом, подготавливаясь к лекции, особое внимание уделяет ее композиции и тщательно, по хронометру, выверив соотношение частей, конспектирует ее. И он, этот конспект по хронометражу, позволяет лектору одним событиям, важнейшим, уделять столько-то драгоценных минут, другим — особо важным — столько-то, третьим — меньше, и так далее, а при этом позволяет не забыть ни об одной детали, ни одной «играющей» иллюстрации, и при такой укладке материала дает возможность избежать малейших пустот. Изумляясь лекционному мастерству молодого профессора, студенты Петербургского университета, уносившие столько сведений с каждой его лекции по всемирной истории, восхищались вместе с тем умением лектора зафиксировать содержание лекции на листе бумаги, который не позволял ему ничего забыть.

Вот молодой магистр поднимается на кафедру, приветственный гул битком набитой аудитории, Тарле достает из кармана конспект лекции, кладет на пюпитр, всматривается в него, минутная пауза, и он начинает. Голос у него хорошего тембра, низкий тенор, решительно нет никаких ораторских жестов, кажется, будто он разговаривает с аудиторией длинными периодами (так же он и пишет), но не ждет ответа, а продолжает свой монолог. Только иногда он словно задумывается на какой-нибудь момент, но никогда не теряет нити размышлений и нанизывает на нее, словно бусы, все новые и новые факты. Он смотрит на слушателей, но иногда, как штурман, сверяет свой курс с лежащим конспектом. И постепенно даже не весьма искушенный в предмете лекции слушатель начинает понимать, что лектор не зря остановился на одних событиях больше, чем на других, — они, эти события, складываются в прочный фундамент развиваемой исторической концепции и прочно западут в его — слушателя — память. Но из его памяти не выпадут и те факты, которым лектор уделил меньше внимания — у лектора есть волшебная способность отбирать в своем конспекте такие примеры, которые нелегко забыть, а для невзыскательного слушателя представляют

интерес нисколько не меньше, чем для слушателя самого привередливого. И по мере того, как разворачивается повествование, слушатель понимает все отчетливей, что неравномерность освещения всех этих фактов — не случайна: этот конспект на столе продуман до мельчайших подробностей. А когда кончается лекция, слушателю кажется, что Тарле сказал решительно все, что можно было сказать на тему лекции. Листок с конспектом прячется в карман или — позже — в портфель, и лектор, исчерпав тему к моменту, когда прозвенел звонок, покидает кафедру под рукоплескания.

Я не видел Е. В. Тарле молодым магистром, похожим на красивого бедуина с описанной мною открытки. Я не видел его на кафедре Петербургского университета. Но я видел его на кафедре почти полвека спустя после печального инцидента, имевшего место 17 октября 1905 г., и наслаждался в полную меру его исключительной одаренностью лектора и безупречной композицией его лекций. И я видел конспекты их.

Это были чистые листы бумаги.

2

Впервые я увидел Е. В. Тарле через тридцать два с лишним года после издания манифеста, который привел его в одну из петербургских больниц.

Мне навстречу шел по высокому коридору типично петербургско-барской квартиры грузный пожилой человек, сутулый, с бритым лицом и орлиным носом. Он приветливо улыбался. Решительно ничего похожего на арабского шейха, хотя бы и в преклонных летах. Римских патрициев античные скульпторы не изображали с орлиными носами; к тому же я не уверен, изображали ли они их хоть когда-нибудь улыбающимися. Если бы это было не так, то шедший мне навстречу приветливый хозяин квартиры очень походил на какого-нибудь римского сенатора. Форма головы была вылеплена по античным медалям, пробор слева протянулся над самым ухом и зачес шел к другому уху, волосы цвета соли с перцем были тщательно приглажены, напоминая тонкую кровлю над розовой кожей, поросшей нежным как «одуванчик» пушком. Сколько раз, спустя годы, меня умиляла старательность, с какой римский сенатор приглаживал вставший на дыбы зачес, неосторожно обнажавший розоватую кожу черепа! Но в тот день, когда я впервые вступил в квартиру на Дворцовой набережной, — прическа хозяина была в порядке и не отвлекала

его внимания. Он широким жестом гостеприимно указал на открытую дверь комнаты, из которой вышел и в которую приглашал меня войти. Этот изящный жест, этот пиджак дооктябрьского покроя с крахмальным воротничком, но с мягкой манишкой, эта непринужденная, но изысканная вежливость в позе и поклоне головы — все это казалось *old fashioned*¹. Не было ничего нарочитого в радушии, ничего официального в том приветствии, с каким академик Тарле встречал литератора, известного ему только по рукописи, которую тот прислал ему на отзыв. Этот литератор приехал из Москвы и по телефону предупредил хозяина о своем посещении.

Посещению — оно произошло в январе 1937 г. — предшествовали следующие обстоятельства: после ряда малозначительных работ, связанных с английской литературой, после компилятивной книжки «Литературная мистификация»¹¹ я в начале 30-х гг. увлекся историей Ирландии и начал подготовку исторического романа о восстании ирландских фениев в 60-х гг. прошлого века. В 1936 г. я кончил роман и решил послать рукопись на отзыв жившему в Ленинграде Е. В. Тарле. Мнение Е. В. Тарле было мне крайне важно не только потому, что я считал его самым крупным советским историком. Я знал, что Е. В. Тарле еще на первом этапе своей научной деятельности интересовался историей Ирландии: в 1899 г. он напечатал в трех номерах журнала «Мир Божий» большую работу о Парнеле, ирландском лидере 80-х гг. Посылая с оказией рукопись в Ленинград, я в сопроводительном письме, разумеется, выражал горькое сожаление в том, что злоупотребляю любезностью такого крупного ученого, обращаясь к нему с просьбой прочесть и высказать свое мнение о рукописи... и так далее — словом, все как в подобных случаях полагается. Сказать правду, я совсем не был уверен, что крупнейший наш историк, автор «Наполеона» (книга вышла в том же 1936 г. и имела огромный успех), заваленный работой, прочтет рукопись в двадцать с лишним печатных листов, полученную от неведомого ему человека.

Но Е. В. Тарле рукопись очень скоро прочел, ответил письмом, слишком для меня лестным, и это письмо побудило меня приехать в Ленинград.

Комната, в которую я вошел, была гостиной. В ту пору Е. В. Тарле довольствовался тем, что отгородил двумя книжными шкафами угол для письменного стола, а в другом углу за ширмой поставил свою кровать (позже ему был возвращен кабинет в той же, старой его квартире,

которая, как я узнал от Е. В., являлась частью апартаментов, занимаемых ранее Витте).

С той же благожелательной улыбкой хозяин, пригласив садиться, одобрил тему моего романа и похвалил точность исторической документации, которая, по его словам, неизвестна большинству советских историков, пренебрегавших, к сожалению, разработкой истории Ирландии. В ответ на мои взволнованные речи о том, что я счастлив слышать подтверждение его письменной оценки рукописи, — оценки, которой я обязан только его доброте, — в ответ на эти мои слова он пристально посмотрел на меня. Я понял, что по этим моим словам, звучавшим, словно удостоверение о моей скромности, он хотел бы сразу определить, можно ли верить моей искренности.

Глаза его светло-карие, слегка запухшие, но все еще позволявшие вспоминать о глазах с поволокой, которыми глядел на мир молодой шейх, — очень зорко вглядывались в меня, но он не переставал улыбаться. По-видимому, изучение моего лица успокоило его, и он с таким участием стал расспрашивать меня о моих планах, связанных с изданием рукописи, что все мои опасения встретить официальный прием немедленно развеялись.

Много лет прошло после первой моей встречи с Е. В. Тарле, и не однажды мне приходилось присутствовать во время его беседы с мало знакомыми людьми. И каждый раз я убеждался в том, что свои отношения с людьми Е. В. Тарле строил на своем первом впечатлении. Правда, он внимательно вглядывался в нового знакомого, как вглядывался в меня, но, если по каким-то, только ему одному ведомым признакам, новый знакомый казался ему достойным доверия, это доверие бывало без труда завоевано. Но по каким признакам? Чаще всего — насколько я мог наблюдать — расположение его легко добивался тот, кто мог ему внушить, что находится в затруднительном положении. Если в тоне, в голосе, в мимике своего первого знакомого Е. В. Тарле не мог уловить фальши, он принимал на веру значительно больше, чем можно было ждать от человека его житейского опыта. Казалось, будто ему и в голову не приходит, что перед ним может находиться хороший актер, которому не стоит труда провести добросердечного и доверчивого по натуре человека. Доверчивый по натуре... Вот, в сущности, разгадка той неосторожности, с какой он дарил свои симпатии многим людям, поведение которых не вызывало ни у кого никаких сомнений. Должно

быть, и они, как и я, при первой встрече пробудили в нем теплые чувства, а уже дальше им было нетрудно: Е. В. Тарле умел сопротивляться любым доводам, раз они опровергали первые полученные им впечатления, он мог дойти до легковерия, которое может показаться даже невероятным.

Но это так. И если эта его привычка верить своим начальным впечатлениям во многом облегчила мне сближение с ним, то та же черта не раз в дальнейшем ставила меня в затруднительное положение. Ибо было нелегко убедить его в том, что со своим легковерием он словно сознательно ищет случая быть одураченным проходимцами. И за это он не раз расплачивался...

Об этом я, конечно, узнал позже — не на Дворцовой набережной в январе 1937 г. Тогда я не встретил у него рыцарей легкой наживы. О них не стоило и упоминать, ежели бы взаимоотношения с ними не вскрывали постоянной его готовности оказать неограниченную помощь всем, кто сумел втереться к нему в доверие. Так было, например, с Н., приехавшей с периферии и пожелавшей сделать научную карьеру. Мне пришлось не раз встречаться с ней у Е. В. в Москве до войны, но уже первая наша встреча с ней осталась мне памятной благодаря ее мюнхгаузеновскому вранью. С самым серьезным видом она ухитрялась сообщать о себе совершенно невероятные сведения, и Е. В. Тарле долго не замечал ее клинической лживости и был недоволен, когда я подсмеивался над его доверчивостью. Все ее фантастические бредни, выдаваемые ею за факты, он передавал своим близким, не выражая сомнений в ее правдивости. Впервые он стал склоняться к тому, что понапрасну ей верил, когда во время эвакуации в марте 1942 г. в Казани (где оказалась также и она) ему стало известно, что эта особа оповещает всех сотрудников Академии наук о том, как высоко ставит академик Тарле ее заслуги перед наукой: когда она дежурила целую ночь в отряде ПВХО, Е. В. Тарле, дабы ей не было скучно, специально приходил из дома, отстоявшего в двух километрах от места ее дежурства... Прошло еще некоторое время, и уже в Москве, во время войны, Е. В. наконец прозрел и говорил мне: «Ну как я могу обвинять кого-нибудь в глупости, если я сам оказался порядочным глупцом! Вы только подумайте: ведь я сам как-то прихожу и говорю Ольге Григорьевне: “Ты знаешь, Н. замечательно играет на рояле. Известный московский пианист Генрих Нейгауз не мог найти в Москве никого, кто сумел бы сыграть с ним Баха в четыре руки. Он вызывал Н. из Киева,

та приезжала, играла Баха и уезжала назад“. Ну что Вы скажете? Ведь я верил ее галиматье, а потом оказалось, что Н. и ноты не умеет читать. Как Вам покажется!»

«Как Вам покажется!» Эту фразу я слышал много раз, и каждый раз она следовала за каким-нибудь сообщением, казавшимся ему весьма примечательным. Эту же фразу я услышал от него и тогда, когда ему пришлось сообщить мне и о другом «достижении» Н., которая в каком-то научном докладе ссылалась на архив, с которым она якобы знакомилась в Кракове, а потом выяснилось, что в этом городе названного ею архива нет и никогда не было.

В эту первую мою встречу с Е. В. я еще не имел понятия ни о легковерии его, ни о той неосторожности, с какой он готов был оказать поддержку любому, кто обратится к нему за нею. Но, не зная об этом, я чувствовал тогда — это я отчетливо помню, — что в кресле сидит передо мной человек большого сердца, которого ничто, кроме его доброты, не заставляет принять во мне участие и помочь изданию моей рукописи. И если в дальнейшем я уже перестал изумляться легковерию Е. В., то так же мало удивляли последствия, к каким иной раз приводила доброта этого человека, готового помогать по мере сил всем без разбора. А последствия бывали почти невероятные. Как-то на основе этих наблюдений я сказал Е. В.:

— Сколько малопривлекательных людей пытаются извлечь из вас пользу, Е. В.! А Вы, должно быть, очень надменны, если не снисходите до того, чтобы узнать, что это за люди, но оказываете им помощь направо и налево.

— Не знаю, может быть, Вы правы... Но один раз я в самом деле попал в смешную историю. Вы знакомы с сестрами X?^{III}

Я ответил, что знаком с одной сестрой, женой известного литературоведа, а с другой не знаком.

— Вот-вот. Они самые. По их просьбе я что-то подписывал, кому-то писал насчет их брата. Он был сослан, и надо было что-то устроить. В чем там было дело, я не интересовался. Но дело выгорело^{IV}. Одна из сестер — та, с которой Вы не знакомы, — пришла меня благодарить. Я почему-то спросил — в чем брат обвинялся. В сущности, мне было совершенно все равно, и спросил я мимоходом, но она замялась. Наступило, как пишется, неловкое молчание, и вдруг она говорит смущенно: «Видите ли, Е. В., он обвинялся в пристрастии... к юношам». Ха-ха! Должно быть там, куда

я писал, решили, что Тарле лично заинтересован в этом господине. Как Вам покажется!

Не менее анекдотичен и случай с Цвиком. Война уже кончилась, Е. В. уезжал на месяц в Ленинград. И я зашел к нему перед отъездом. Во время разговора, в одну из пауз, он вдруг насупил брови и сказал:

— Как бы не забыть — узнать у Цвика об этом мальчике.

— У какого Цвика? — спросил я.

— Вы думаете это сокращенное учреждение? Ничего подобного. Он работает в ОГИЗе и издал на правах рукописи «Екатерину Вторую»^v.

Я знал об этой изданной стенограмме двух лекций, прочитанных Е. В. сотрудникам ОГИЗа, о внешней политике Екатерины^{vi}. Е. В. мило улыбнулся и добавил:

— Очень почтенный человек. Он даже мне неожиданно деньги запла- тил!

— Превосходно. Но при чем тут мальчик?

Е. В. встрепенулся.

— Мальчик хочет быть около книг. Он проявляет интерес к гумани- тарным наукам, но к математике не имеет никаких способностей.

— Ничего не понимаю. Какой мальчик Цвика и какое Вы имеете к нему отношение?

Вошедшая Ольга Григорьевна, жена Е. В., слышит мой вопрос и улы- бается, но Е. В. продолжает молчать, и я подозреваю, что у них уже был разговор на эту тему, и потому допрашиваю.

Наконец Е. В. сообщает:

— Его надо устроить у Цвика — он интересуется гуманитарными науками.

— А Вы его знаете?

Не отвечая на вопрос, он говорит:

— Я думаю, что его надо будет устроить в библиотеку. Я скажу еще Паевской.

— А он кончил школу? — спрашиваю я, подозревая, что дело не такое простое.

— Школу? Нет, он должен был уйти. Он совсем неспособен к матема- тике. У него двойки.

— И много? В каком он классе?

— В восьмом. У него двойки по всем математическим предметам, по физике и по химии.

— Способный мальчик, — смеюсь я. — Случайные двойки и должен покинуть школу?

— Нет, кажется не случайные. Но его отец говорит, что он очень способен в области гуманитарных наук. Пусть поступит в библиотеку.

Ольга Григорьевна говорит:

— Но ведь ты его не знаешь, ни разу не видел. Это сын бухгалтера нашего домоуправления. Е. В. разжалобился тем, что, по словам отца, он имеет якобы пристрастие к гуманитарным наукам. А ты разве не знаешь, что в нашем дворе все мальчишки — хулиганы. Конечно, и он хулиган!

— Да что ты!

Е. В. удивился, но ничего не мог добавить. Помнится, я вмешался.

— Как же Вы, Е. В., можете его рекомендовать Паевской (известный библиограф А. В. Паевская, научный секретарь Е. В., работала в ЦГБИЛ^{VI}). Ведь она сделает все возможное, чтобы устроить в библиотеку мальчишку, о котором Вы знаете только то, что у него много двоек. Ведь этот мальчишка может ее серьезно подвести, и я протестую.

— Вы думаете, он подведет милую Анастасию Владимировну? — озадаченно спросил Е. В.

— Я ничего не думаю, но боюсь, что это именно так. Во всяком случае, я не думаю, что Вы поступите правильно, если поручите Анастасии Владимировне определить этого юного лодыря в библиотеку. А что до Цвика — делайте как хотите!

— Но его отец так просил...

Тут снова вмешалась Ольга Григорьевна.

— Я тебе то же самое говорила. Как это можно делать! Вот так он всегда...

В январе 1937 г. я еще не знал, что это «так он всегда». Но позже сколько раз я узнавал, что желание помочь совершенно неизвестным людям оказывалось много сильнее доводов рассудка. Последствия бывали не всегда желательны для него самого, но по мере того, как я узнавал Е. В., мне доводилось не один раз наблюдать его реакцию на эти нежелательные последствия. Никогда, ни разу не я не услышал от него сожаления о том, что он оказал помощь недостойному ее человеку. Почти всегда он пытался оправдать свое вмешательство в судьбу своего протеже. Когда же обстоятельства складывались так, что его ошибка становилась истиной самоочевидной, вот тут-то окружающие его лица могли убедиться, насколько характерно для Е. В. доброжела-

тельство к людям. Ни тени злобы к обманувшему его доверие человеку, ни намека на раздражение нельзя было заметить в его признании своих ошибок. Он добродушно подсмеивался над собой, а однажды у него вырвалось:

— Вот поди же ты! Мне везет, знаете ли, на таких людей!

Да, ему везло. Но об этом я еще не знал, беседуя впервые в жизни с Е. В. у него на Дворцовой набережной.

Помнится, зашел разговор об издательстве «Academia» (с которым я был связан некоторыми работами), выпустившем в 1934 г. «Мемуары Талейрана» с вступительной статьей Е. В., развернутой им позднее в блестящую книгу. Говорили о литературоведах и историках, группировавшихся вокруг издательства, и я по какому-то поводу выразил сожаление о том, что у меня нет многих его книг. Он спокойно заметил:

— И у меня тоже нет.

— Да неужели?

— А что ж тут удивительного? — ответил он вопросом. — Когда я кончаю работу, она немедленно перестает меня интересовать, и я перехожу к другой. А затем к третьей, и так далее... Должно быть, поэтому мне совершенно неинтересно, как и когда они будут изданы...

Позже я убедился, что в этих словах не было ни грана кокетства. Большой ученый, поражающий широтой научного диапазона и научной продуктивностью, нисколько не заботился ни о судьбе своих рукописей, пересылаемых в издательства или периодические органы, ни о сохранении изданных работ в своем архиве. Если бы не близкие к нему люди, у Е. В. не сохранилось бы ни одной его книги, как не сохранились бесчисленные его научно-публицистические статьи.

Ни на один момент — я это видел — у Е. В. не мелькнула мысль, что я могу отнестись с сомнением к столь необычному утверждению. Ибо ничто его так не оскорбляло, как недоверие к его словам. Позже мы не раз возвращались к этой теме — к его отношению к своим книгам.

Помнится, мы заговорили как-то о Витте, и он сказал:

— А Вам приходилось видеть мою книжечку о нем? Не видели? Я написал и издал ее в 1929 г.^{viii}

— И ее у Вас нет?

— Конечно, нет.

— Вы, мне кажется, единственный человек, который так относится к своим книгам, чем Вы это объясняете?

И Е. В. почти повторил то, что я услышал от него в день нашего знакомства:

— Когда я кончаю книгу, она меня совершенно перестает интересовать, я начинаю думать о следующей. Но, пожалуй, книжку о Витте Вы прочтите, это был умнейший человек, полный автократ.

И затем стал говорить о роли Витте в русской политике начала XX в.

Помню также, мы возвратились еще раз к странному отсутствию у него интереса к законченным его работам. Это было в день выхода 3-го издания «Крымской войны» в мае 1950 г. Я любовался двумя увесистыми томами, сказал что-то о хорошей бумаге, о лучшем внешнем виде, чем первое издание Академии наук. И невзначай спросил, знает ли он, сколько написано им монографий.

— Не имею никакого представления, — убежденно ответил Е. В.

Я назвал цифру: тридцать две книги.

— Вы можете это подсчитать по библиографическому списку в брошюре о Вас, изданной Академией наук в прошлом году. Там же краткая характеристика научной и общественной Вашей деятельности^{IX}.

— Да я вовсе не читал того, что написано обо мне в этой книжонке.

В нашу первую встречу, словно для того, чтобы у меня и в мыслях не было, будто он может допустить, что я могу заподозрить его в позировании, он сощурил глаза и завел разговор о моей рукописи, которую тут же вручил мне.

Мое посещение подходило к концу. Я поднялся, встал, и он не дал мне продолжать, когда я стал говорить о своей благодарности, спросив:

— Вам куда? На канал Грибоедова? О, это совсем близко, ну что ж, выйдем вместе.

Мы вышли. Зимний вечер был безветрен и мягок. В свете фонарей, окаймлявших набережную, снежинки кружились, как в андерсеновской сказке. И как сказку я воспринял лестный отзыв академика Тарле о моем первом историческом романе.

Сутулясь, заложив руки за спину и держа в них трость, грузный человек в широкой шубе шел рядом со мной довольно быстро (как медленно он мог двигаться после войны!). Снег усилился. Мы молчали. И вдруг Е. В. останавливается. Останавливаюсь и я. Покачиваясь из стороны в сторону, он поворачивается ко мне всем корпусом и задает какой-то вопрос. Затем в прежнем темпе идет той же дорогой. Проходим шагов

двадцать, стоп! Снова переключение темпа, он отходит в сторону, круто поворачивается ко мне, и мы вновь идем рядом.

И вдруг мне на память пришли слова философа Н.: «Вы поглядите, как ходят женщины. Ведь они постоянно останавливаются, то идут быстрее, то медленнее. На них всегда можно налететь, когда идешь сзади».

Если бы философ, сделавший это наблюдение, был свидетелем синкоп, которые были так характерны для манеры ходьбы Е. В., он решил бы, что в натуре академика Тарле много женственного.

3

Неожиданно для меня и, конечно, для Е. В. мое посещение квартиры на Дворцовой набережной повело к установлению отношений, которые иначе не назовешь, как дружбой. Памятником ее остались не только свыше ста писем Е. В. ко мне, но и постоянные регулярные встречи в Москве, где с начала войны Е. В. поселился окончательно, не порывая связи с Ленинградом. Во время наездов туда он продолжал читать курс лекций в родном для него Ленинградском университете и продолжал вместе с Ольгой Григорьевной жить в памятной мне квартире на Дворцовой набережной, расширившейся благодаря присоединению кабинета Е. В. Но все мои встречи с Е. В. происходили в Москве — сперва в гостинице «Метрополь», где Е. В. останавливался, приезжая в Москву, а затем, после возвращения из эвакуации, в его квартире у Каменного моста, а когда я бывал болен, — в моей квартире.

Свое письмо ко мне по поводу моего первого исторического романа Е. В. подкрепил предисловием к роману, вышедшему в ГИХЛ в 1938 г. и переизданному в 1952 г. с его заново написанным предисловием^х. Трижды Е. В. выступал в печати с оценкой и другого моего романа «Старая Англия», который вышел в 1943 г. Много часов провели мы, обсуждая те эпизоды английской истории, которые интересовали меня в ходе некоторых работ, и не было случая, чтобы я не почувствовал в его советах искреннего ко мне расположения.

Упоминаю я об этом единственно для того, чтобы объяснить ту откровенность, с которой он высказывал мне свои взгляды и оценки и которой он не изменял в течение всей нашей дружбы. С другой стороны, это отношение Е. В. ко мне ставило меня в выгодное положение сравнительно с другими его знакомыми: оно позволяло мне наблюдать такие внутренние жесты в поведении Е. В. и выслушивать такие оценки,

которые чаще всего бывали для других за семью печатями. Этих «других» было слишком много. Е. В. прожил большую жизнь и всегда привлекал к себе интерес повсюду, в какой среде ни появлялся. Но за всю свою долгую жизнь он не сохранил ни одного человека, которого мог бы назвать другом. Помнится, я спросил его как-то, есть ли у него друзья юности, на что получил категорически отрицательный ответ. Насколько я мог заключить, не приобрел он друзей и в зрелые годы, если не считать многочисленных поклонниц женского пола, которых неизменно привлекала его блестящая манера рассказывать.

Е. В. был *causeur*^{ХІ} экстра-класса. Без всякого напряжения, свободно и легко он находил темы, представляющие для любого слушателя несомненный интерес. Меньше всего эпизоды, о которых он рассказывал, вызывали представление о рассказчике, ученом историке. Его чудовищная эрудиция не только не утяжеляла темы рассказа, но придавала ей неожиданную остроту в том случае, если в этой теме не было намека на юмор, как, например, в тот день, когда он особенно — я это видел — страдал от приступа каменной болезни. Улыбаясь и превозмогая боль, он шутил:

— Эх, Е. Л., все трын-трава! От моей болезни помирали великие люди: Петр Первый, Кромвель. И Наполеон III помер от той же каменной болезни. В сущности, только после него придумали этакую дробилку для камней — открылся новый раздел урологической хирургии.

Е. В. ошибся — ему была уготована иная участь, но он никогда не ошибался в эффекте, окрашивая своей эрудицией сообщаемый им эпизод. От такой окраски эпизод всегда выигрывал в выразительности, тем более, что чаще всего он подавал эту эрудицию в ироническом плане.

— Вы слышали о том, что в России жили потомки Сципиона Африканского? — спросил он как-то.

— Нет.

— А я вот не только слышал, но и поссорился из-за этого с Серафимой Васильевной Пантелеевой. Об ее муже, народовольце, издателе и авторе мемуаров Л. Пантелееве Вы, конечно, знаете?

— Знаю.

— Ну так вот, Серафима Васильевна, его супруга, женщина весьма экспансивная, большая хлопотунья. Она, знаете ли, была великая поборница женского образования. Скончалась старушкой, раньше, чем Л. Пантелеев, который умер в 1919 г. Так вот, видите ли, говорит она как-то мне, что

познакомилась с одной полькой, потомком... кого бы Вы думали? — Сципиона Африканского! Я не вытерпел и говорю: «Побойтесь Бога, Серафима Васильевна, ведь это невозможно». Она вспыхивает. Улыбаясь, я говорю: «А где же документы?» А она совершенно серьезно: «Их коза съела». Тут я расхохотался и вижу, старушка разозлилась не на шутку. «А разве, — говорит, — невозможен такой несчастный случай, когда документы исчезают потому, что их съедает коза?» — «Такой случай, Серафима Васильевна, конечно, возможен, но Вашу польку кто-то решил вышутить». — «Ну вот, Вы всегда так», — говорит, а, вижу я, злится. — «Подумайте, — говорю, — в исторической науке установлено, что древние роды Флавиев, Клавдиев, Сципионов исчезли уже в эпоху принципата, то есть к I веку нашей эры. Об этом существует литература, это незыблемый факт. А поляки выделились из славянского племени как самостоятельная отрасль его к VIII веку нашей эры — значит, с момента исчезновения Сципионов прошло целых семь веков. А теперь скажите, может ли быть, чтобы Ваша полька была потомком Сципиона?» По мере того как я говорил, она становилась все более мрачной, но эта неведомая полька так подействовала на ее воображение, что вдруг она мне говорит: «Вы знаете, Евгений Викторович, у Вас есть одна неприятная черта. Вы думаете, что все знаете». И обиженно замолчала. Как Вам это покажется?

Над своей эрудицией он иронизировал и тогда, когда мы заговорили как-то о его юности, и я спросил, как он учился. Он ответил, посмеиваясь: — Гимназию я кончил с серебряной. Золотой не получил по неспособности к математике. А учился в Киевском университете. Помню, был такой случай со мной на государственном экзамене. Часть экзаменов я сдал, были все пятерки. Держу у Фортинского — он читал средние века и тогда был ректором. Ну-с, экзаменуюсь. Отвечаю на ряд вопросов, отвечаю и на довольно сложный вопрос, вдруг он останавливает меня и спрашивает: «Скажите, где проводил Герман Калека лето 1044^{XI} года?» Я очень удивился такому неожиданному и странному вопросу и напряг всю память. Тщетно! Не помню, где проводил этот Герман лето. Фортинский ждет. Я говорю: «Не знаю, профессор. Решительно не знаю». — «Ну, ничего, — говорит, — продолжайте». Я кончил отвечать, он поставил мне пятерку, и мы расстались. Я пошел в университетскую библиотеку сдать книги. Когда вышел, двинулся по Бибииковскому бульвару. Впереди идет знакомая фигура. Тротуар узкий, я обхожу фигуру — Фортинский.

Кланяюсь и тут же решаю задать вопрос: «Скажите пожалуйста, профессор, где же проводил Герман Калека лето 1044 года? Этот вопрос не дает мне покоя». И вдруг слышу: «А черт его знает!» Я опешил, а Фортинский продолжает: «Да и никто не знает. Ведь Вам известно, Тарле, что об этом летописце нет почти никаких сведений. Куда уж там знать, где он проводил лето!» И улыбается. «Но простите, профессор, — спрашиваю я, — отчего же Вы задали этот вопрос?» — «А для того, уважаемый, чтобы Вы не зазнавались». — «И откуда он взял, что я зазнаюсь — не понимаю!» — закончил, хохоча, Е. В.

Нетрудно догадаться, почему старому опытному профессору Фортинскому пришло в голову задать анекдотический вопрос студенту Тарле, который уже получил медаль за студенческую работу по медиевистике. Молодой Тарле еще в студенческие годы резко выделялся из среды студентов-историков своей эрудицией. С годами его память не только не ослабела, но развилась, и вера в эту память, должно быть, давала юноше основания пококетничать ею. Но с годами историк Тарле выслушал столько восторженных оценок своей эрудиции, что едва ли нуждался в признании ее со стороны добрейшей Серафимы Васильевны Пантелеевой, когда поминал аристократические римские фамилии. И только раздражением на самое себя можно объяснить слова С. В. Пантелеевой: «У вас есть одна неприятная черта: вам кажется, что вы все знаете», о которых, смеясь, вспоминал Е. В. Ибо обаяние манеры Е. В. вести *causerie*^{XIII} заключалось в том, что он нисколько не подчеркивал свою эрудированность; все его сообщения, говорившие об огромной и самой разносторонней осведомленности, звучали так, будто он совершенно случайно вспомнил *ad hoc*^{XIV} и не мог не поделиться с собеседником; поражала легкость, с которой память подсказывала ему интересные факты, причем эти факты столь бывали разнообразны по характеру, что свести их в какие-нибудь группы нельзя.

Вот он вспоминает своего гимназического латиниста, над которым гимназисты подшутили, внушив ему, что в России, знакомясь, принято называть свое имя, отчество и фамилию. Латинист был чех по национальности и звали его П. С. Марек, который представлялся, стало быть, так: «Пес Марек»; и тут же Е. В. вспомнит образец перевода из Цезаревой «*De bello Gallico*»^{XV}, который латинист диктовал ученикам: «Проведши день в том, что он, притворяясь, показывал вид, что делает не в том, чем к чему приготовлялся».

Вот он в письме продолжает *causerie*: «На днях мне сообщили о таком недоразумении: слушательница педвуза ответила: “Жан-Жак Руссо говорит, что человек от природы бобр, но цивилизация его портит”. На вопрос удивленного экзаменатора она повторила: “Человек от природы бобр, но цивилизация его портит”. — “Что же это значит? Почему он может стать бобром?” — “Да я сама удивляюсь”, — ответила девушка. Вот что значит плохая акустика при подсказках. При парадоксах Ж.-Ж. Руссо от него всего ждешь» (письмо от 21.VII.46).

В другом письме роняет: «А рябчик просто открывался (как говорил любивший цитаты из Крылова Цеге-Мантейфель)» (от 30.XII.46). В третьем еще о Мантейфеле: «Мы тут, как всегда, чувствуем себя как рыба в раю (по выражению любившего русские поговорки Цеге фон Мантейфель)» и дальше: «На ночь вместо люминала читаю Пьера Бобо: “Fichtre!^{xvi} чудиха, захибається!?” И так целыми печатными листами! Болваниссимус!» (от 27.II.48). Или, например: «Я убежден, что с новым романом Вам повезет вполне. Писать это легче, чем если бы Вы вздумали написать, например, историю философии. Non, c'est tu rigoles, frère! Так переводил покойный Шляпкин русское выражение “Нет, уж это шалишь, брат!”» (от 27.VII.47.) Трудно более тонко пародировать словесную крошку Боборыкина и отсутствие языкового чутья профессора Шляпкина, чем сделал это Е. В. мимоходом, без малейшего напряжения памяти. Не забыто при этом не только пристрастие Боборыкина к смеси французского с нижегородским, но и обычное для него искажение русских идиом.

Легко и добродушно Е. В. пародирует исторические романы на темы русской истории, предлагая в виде сюжета Ченслера, путешественника по России во времена Ивана Грозного. «И Чепухита есть — боярышня Забава Путятишна: “Нет, не замай! Не покину Русь! Еще вам 400 лет аглицким собакам куражиться! А потом как дадим вам под микитки!” etc.» (письмо от 22.IV.48).

Иногда он бросает только эпитет, но выбирает этот эпитет со зыскательностью подлинного художника; он сообщает, например, об открытии музея Пушкина в здании Лицея, а на открытии «обещана речь С. И. Вавилова о заслугах покойника» и добавляет: «Односторонний взгляд поэта на Академию наук ничуть не мешает учреждению справедливо оценивать его значение». Достаточно вспомнить мнение Пушкина о состоянии Академии наук его времени, чтобы оценить изящество эпитета^{xvii}.

Без малейшего труда, мимоходом он вспоминает один за другим забавные случаи и упоминаниями о них пересыпает свои письма, которые всегда похожи на блестящие его *causeries*. «Моих ушей коснулся шум и их наполнил гам (подчеркнуто Е. В. — Е. Л.) и звон», — так цитировал Львов-Рогачевский в «Современном мире». И дальше: «Приедем 8-го утром — позвоню Вам в тот же день. “Выдающийся писатель” Федор Михайлович (из отрывного календаря) напомнил мне циркуляр херсонского губернатора Бантыша в 1910 г. исправникам по случаю смерти Льва Толстого: “Человек недлюжинных способностей (подчеркнуто Е. В. — Е. Л.), граф Л. Толстой дозволил себе недопустимые кощунства” и т. д. Этот сдержанный отзыв обессмертил Бантыша (который, впрочем, страдал запоем)» (письмо от 28.I.51).

Тот, кто встречал Е. В. не в официальной обстановке, хорошо помнит, как заразительно он смеялся. Более благодарного, чем Е. В., слушателя какой-нибудь комической истории я не знаю. После одного из взрывов смеха он не раз говорил «я очень смешлив», и в самом деле рассмешить его было нетрудно; смехом он иногда преодолевал острую физическую боль, и смех был всегда его защитой против размышлений о том, что он скоро «околеет», как любил он повторять в последние годы. Сколько раз, бывало, расскажешь ему о каком-нибудь комическом эпизоде и видишь, как «расходятся морщины на челе» и слышишь, как он кличет Ольгу Григорьевну и просит еще раз повторить при ней сообщение, которое показалось ему чем-либо смешным. Он умел идти «навстречу смеху», и как-то, когда мы разговорились о национальной окраске юмора, он категорически отверг юмор немецкий и английский и заявил, что любит и ценит юмор афористический — «грациозные остроты французов». Он любил обыгрывать свои хворости, которые скрывал, покуда это было возможно. Помню, к концу первого года войны у него обострился диабет, и я призывал его соблюдать диету. Он вдруг мне заявил:

— А я не обращаю внимания на анализы, я их просто не читаю. Знаю только, что когда посадили меня на диету, они (т. е. врачи. — Е. Л.) довели до того, что у меня сахару оказалось меньше, чем нужно. Как Вам покажется! И теперь у меня никакого сахара нет. Ну разве это не смешно?

А в другой раз (приезжая из Ленинграда, он останавливался, как я уже говорил, в «Метрополе») он мне сообщил:

— Когда меня заставили есть диабетический хлеб, я выщипывал половину булки — мякиш. Однажды, придя в номер, я увидел двух кори-

дорных, они отодвинули шкаф и что-то искали за плинтусом. На мой вопрос, в чем дело, они в ужасе сообщили, что ищут мышей, и показали на... булку, лежащую на столе. Конечно, я не сознался...

Сообщая о своем переезде в больницу, он сопровождает это сообщение в одном из писем цитатой: «Помните у Горбунова: “И все-то он, злополучный пьяница, по больницам шляется! Скус в них нашел!” C'est mon cas^{xviii}, хоть я и не пьяница. Все трын-трава! Больница — так больница» (письмо от 17.I.41).

Как он забавлялся, когда представился удобный случай, с каким юмором он набросал гротескный план исторического романа на сюжет из всеобщей истории! Да простит мне читатель цитаты, но этот план и взятые им в скобки интерполяции наглядно иллюстрируют иронический жест, с которым он всегда подавал свою историческую осведомленность. В ответ на мое письмо он начертил такой план: «Возьмите Линкольна, дайте его, сравнив en regard^{xix} с нынешними Бутсами. Введите какого-нибудь русского великолепного юношу добровольца в армии северян, в него влюбляется и перебегает от южан черноокая донна Чепухита (genre^{xx} Андрия в юбке см. «Тараса Бульбу»). Словом: “Дядя Сам (sic! — Б. К.), скажи-ка мне, отчего бьют негров больно в просвещеннейшей стране Вашингтона и Линкольна?” etc., etc. ... Тут же благодарственная экспедиция Фокса, муж Чепухиты и она едут при Фоксе в Россию, сближаются с революционерами («Заатлантический брат! Бог его тоже ведь доллар?» — «Бог его доллар, добытый трудом, но не украденный доллар!» etc.)^{xxi}. А потом Герцен — или еще раньше обед Герцена у Бьюкенена в Лондоне — в “Былом и думах”. Книга Малкина — его диссертация — о русско-американских отношениях в 1860—1866 гг.^{xxii} — газеты — материала уйма. И побольше о подлостях Джефферсона Дэвиса, генерала Ли, Бутса, сукинсыньстве “шерстяных саквояжников” при Джонсоне и Гранте etc., etc. Из Чепухиты можно сделать compote macédoine из Кармен и Виардо-Гарсиа^{xxiii} (встреча у Тургенева, поездка в Буживаль etc.). Согласитесь, mon cher^{xxiv}, что “судьба меня вела иным путем,” но при благоприятных обстоятельствах я мог бы возвыситься до Пьера Бобо! Минимум! Чепухиту в конце концов подстреливает из-за угла рабовладелец и она умирает, шепча пророчества о светлом будущем обоих полушарий etc. Вместо нее можно взять Глэдис — не брюнетку, значит, а рыжую» (письмо от 4.IV.48).

Получив мой решительный отказ воспользоваться таким чудесным сюжетом, Е. В. продолжал забавляться и в следующем письме: «Я согласен, чтобы Вы не брались за Линкольна и Чепухиту (a nice child, is it n't?)^{xxv}. Не моргнув, sans sourciller je vous en offre un autre sujet^{xxvi}.

1811—1814 годы. Байрон, речь в защиту рабочих в палате лордов. Слава — опала — ракалья-жена, нежная сестра и опять жена («Страдала ты, и не был я с тобою! Болела ты, а я бродил вдали!») — Италия, Греция, бестии англишмены, отказ в Вестминстерской могиле etc. Семен Воронцов sur le retour d'âge^{xxvii}, Николай (наследником) и его известный разговор с Робертом Оуэном — воскресшая (после гибели на 1-й странице настоящего письма моего к Вам) signora Чепухита — но на сей раз в образе русской девушки в Миссолунги (приехала от Ипсиланти помогать греческим повстанцам — и, кстати, была при кончине Байрона), зовут Валя Дубинина etc., etc. Прорицание о будущем etc. ... Если Вы и теперь не скажете, что во мне пропал Пьер Бобо, то на Вас не угодишь, monsieur est vraiment difficile^{xxviii} (P. S. Валя Дубинина, уроженка Ижоры близ Петербурга: «Твоя чухоночка ей-ей, гречанок Байрона милей») (от 15.IV.48).

В каждой своей беседе, в каждом своем письме он разбрасывал фразы или строки, согретые добродушной усмешкой. В его юморе не было ни грана язвительности, ни капли желчи, ни тени неприязни к избражаемому предмету — неслучайно он как-то упомянул, что любимый его французский юморист Куртелин. То он неожиданно вспоминает о Шапове: «Уважаю в тебе, Ольга, рабочую единицу!» — писал Щапов, предлагая руку и сердце своей избраннице. Пил он исключительно спирт приправленный перцем, и умер от delirium tremens^{xxix}. Был, впрочем, очень серьезным исследователем раскола» (от 17. VI. 49). Почему же он вспоминает о Шапове? «Вспомнил я это потому, что на днях получил восторженное письмо, в котором неизвестная мне курсистка пишет, что “уважает (во мне) рабочего человека”. Знай наших!»

То он сообщает о том, что теперь по Академии пошел слух, будто он, Тарле, пьяница.

— Да что Вы? Каждый знает, что Вы в рот хмельного не берете, — засмеялся я.

— Не говорите так уверенно. После поездки на сессию Академии в Свердловск мнение обо мне может измениться. Случилась пренеприятная история.

Он поджимает губы, но глаза его смеются.

— И всему виной милейший Н. Н.

— Да что Вы! Никогда Н. Н. не станет о Вас распространять порочащие слухи.

— А Вы, мой друг, не торопитесь с заключением. На сессию в Свердловск ехал, конечно, и он, а вагон был целиком академическим^{xxx}. Утром я не читал сводки Информбюро и прошу его как-нибудь ее раздобыть, попросить у кого-нибудь в вагоне. Минут через десять он возвращается и мнется. Потом говорит: «Вот досада! Обошел весь вагон, просил у всех для Вас, Е. В., водки, и ни у кого не оказалось». Какой водки?! Да я ведь просил не водки, а сводки! Уверен, все решили, что Тарле с раннего утра не может прожить без водки! Как вам покажется!

Из больницы, куда он был доставлен в плохом состоянии, он писал: «Ночью во время бессонницы пришла в голову мысль. Ну как возможно человеку, знающему, что есть “ночевала тучка золотая...” , сесть и написать (текстуально) такое (все тот же Z)^{xxx1}: “Пойми же, Валентина, что Вернер Зомбарт — первая ласточка буржуазной весны, а Бернштейн — первая ее жертва!” И писал балда, и писал, и писал. Почему? И Валентина любила его не меньше, чем Бэла Печорина! О, женщины! Если бы не Шекспир, то я бы лично сказал все, что нужно о них. Любовь женщины — это амплитуда колебаний между Z и Лермонтовым, а посредине (приблизительно) на этой волнистой линии Тарзан (ближе к Z)» (от 25.II.54).

Его выпускают из больницы, но проходят месяца два, и он снова в больнице: этот последний год перед концом был очень для него мучителен, он хорошо знал, что болезнь его смертельна, но и теперь не мог пройти мимо любого повода, который помог бы ему улыбнуться. Он пишет: «Выгляжу я как “ах, какой, не правда ль, мама, постоялец наш удалый! Мундир золотом весь шитый и как жар горят ланиты”^{xxx11}. Как видите, интерес к серьезной поэзии жив во мне по-прежнему» (от 26.V.54).

Когда он писал эти строки, улыбка, я уверен, облегчала ему физические страдания. И когда спустя полгода я прощался с ним (его снова перевезли в больницу) и знал, что мы больше никогда не увидимся, — он так же, как все эти годы, просил меня повторить «для Ольги Григорьевны» какую-то придуманную мной забавную историю и так же жадно «тянулся к смеху», а на лице его не угасала такая знакомая, добрая улыбка.

Каждый, кому приходилось беседовать с Е. В., скоро обращал внимание на легкость, с какой он в ходе беседы сообщал многочисленные сведения, которые, казалось бы, должны были находиться за пределами его интересов. Поначалу эта особенность воспринималась как большая разносторонняя эрудиция — я имею в виду, конечно, не профессиональную эрудицию большого историка, которая производит впечатление на всех тех, кто знаком с его историческими работами, а редкую по диапазону осведомленность в разных областях гуманитарных наук. Но такое впечатление рождалось только на первых стадиях общения с Е. В. Очень скоро собеседник его становился в тупик: ему начинало казаться, что непосредственно перед встречей с ним Е. В. приготовил ряд «сюрпризов», а именно специально запомнил какие-нибудь прозаические и поэтические цитаты, чтобы поразить его воображение. Но такому предположению, — не говоря уже о том, что не каждый новый знакомый Тарле мог быть столь самонадеян, — мешали два обстоятельства: во-первых, цитаты бывали очень длинные и быстро нельзя их было выучить, во-вторых, поражал прихотливый вкус Е. В., затратившего время на запоминание произведений, которые нередко этого не заслуживали. Поэтому надо было найти другое объяснение. Но какое?

Поэт Федор Сологуб, оказавшийся случайным соседом Е. В. на каком-то публичном обеде, которые были в ходу до Октября, был ошарашен, услышав от Е. В. свое длинное, забытое им самим стихотворение, включенное им в роман «Тяжелые сны» и не печатавшееся отдельно. Известный наш журналист Д. Заславский на конгрессе во Вроцлаве в 1948 г.^{xxxiii} услышал от Е. В. длинную цитату из своей статьи, написанной им по поводу юбилея Кони лет за 40 до вроцлавской их встречи. Как-то случайно я упомянул в беседе с Е. В. имя Неведомского, одного из наших ранних марксистов, литературного критика и известного переводчика научных произведений. Неведомский никогда не был поэтом, но, должно быть, когда-то тиснул несколько третьесортных стихотворений в периодической печати. И вдруг Е. В. спрашивает меня:

— А хотите познакомиться с поэтическим гением Неведомского?

И тут же читает длинейшее — и бездарное — сочинение упомянутого критика.

В другой раз я застал Е. В. за чтением. Спросил, что он читает.

— Воспоминания автора «Тарантаса».

Я взял у него книгу гр. Соллогуба и начал перелистывать.

— Я сегодня в таком настроении, — сказал Е. В. — что буду Вас эпатировать. Вот прочтите. — Он указал на одну из страниц: — Читайте внимательно. И следите. — А затем он начал медленно скандировать стихи, только изредка чуть-чуть запинаясь, но ни разу не споткнувшись. Я следил по тексту: чудеса! Передо мной была проза, а Е. В. читал переложение этой прозы в стихи.

— В чем дело, Е. В.? Откуда это переложение? — спросил я, когда после длительного чтения Е. В. остановился.

— Вы слышали имя Конрада Лилиеншвагера?

— Это псевдоним Добролюбова?

— Вот именно. Я что-нибудь пропустил?

— Ничего не пропустили. Но где это Вы нашли и зачем выгучили?

— Выгучил? Да я никогда ничего не заучивал, я только запомнил. Читал «Свисток» — Вы когда-нибудь читали это приложение к «Современнику»? Когда читал, не помню, думаю, лет пятьдесят назад, а может и больше, и запомнил.

Я хорошо знал, что Е. В. не «заучивал», а просто, как он всегда говорил — «прочел и запомнил», но мне не всегда удавалось воздерживаться от восклицаний, выражающих изумление, когда Е. В. вдруг приходила охота развлечься, вспоминая всеми позабытые прозаические и поэтические опусы десятков писателей и поэтов.

— Но как же Вы вспомнили Лилиеншвагера, когда мы о нем не говорили?

— Очень просто, я читал Соллогуба и вдруг в памяти всплыло переложение этого куска в «Свистке» — вот и все, — смеялся он. — Ну, согласитесь, когда я околею, мир не будет знать этих стихов!

Сколько раз я слышал эту фразу после чтения каких-нибудь виршей Минаева, Буренина и подобных им версификаторов; однажды он спросил меня:

— Вы слышали имя такого журналиста В. Жаботинского?

— Ну, как же. Осатанелый сионист. Он писал в либеральных газетах.

— Вот-вот. Он был также и поэт, писал под псевдонимом. Хотите, я прочту Вам из его книжки? Я ее когда-то видел. Слушайте. — И он прочел несколько строк. — Могу еще. Хотите?

У Е. В. была «цирковая» память. В недрах ее задерживались не только Жаботинские и Минаевы, но в первую очередь наши классики: Пушкина, Лермонтова, Некрасова он мог читать наизусть когда угодно и сколько угодно, ему ничего не стоило «вспомнить» крупные отрывки из «Вечного мужа» или из «Бобка» Достоевского. Беседуя, он без малейших усилий «вспоминал» исторические факты и исторические документы — законодательные акты, отрывки из воспоминаний, из переписки исторических лиц, эпизоды из жизни их и т. д. И, слушая его, нельзя было не думать о том, что такая «патологическая» память, безусловно, могла бы погубить историка, могла бы так загроздить его сознание фактами и чужими комментариями к ним, что через эти завалы не пробилась бы ни одна самостоятельная его мысль, ни одна оригинальная концепция. И тем более реальна была эта угроза, чем меньше походил Е. В. на образ «гуляки праздного».

В самом деле, как далек был реальный академик Тарле от этого классического образа! Е. В. был «одержим» работой. В семь часов утра (еще незадолго до конца своего) он уже сидел за письменным столом; он работал и по ночам, так как сплошь и рядом большую часть ночи не спал и ставил в тупик врачей, не часто встречавших такие тяжелые случаи бессонницы. Он обладал завидным даром переключаться на работу немедленно вслед за тем, как устранена была очередная помеха, а этих помех в течение уплотненного его дня было великое множество. Когда в 1943 г. его перевезли в больницу, где ему предстояла тяжелая операция, он захватил с собой рукопись и материалы и писал, не отрываясь, вплоть до часа, назначенного для операции. А через несколько часов после возвращения из операционной, невзирая на противодействие врачей, настоял на том, чтобы ему дали возможность продолжать работу. Когда я пришел к нему на следующий день после операции, я увидел его постель, усеянную листами рукописи и книгами. Во время своей поездки в Закавказье он пишет: «Очень много работаю в вагоне над Екатериной II. Книг взял много» (от 31.V.44). Еще через три года такая же поездка; из Гагр (где «все что от природы — прекрасно») он пишет: «Я тут кое-что пописываю. Я на дачах — не умею. Мы которые трудящие. И без работы я окошел бы здесь со скуки» (от 3.XI.47).

И он работал, работал и в больнице, и в вагоне, и на дачах, работал, невзирая на постоянное физическое недомогание, часто переходившее в физические страдания. Когда диабет — был такой период — обострился, я сказал ему как-то:

— Физиология имеет свои законы, Е. В., сахар в организме ослабляет трудоспособность.

В ответ он улыбнулся:

— Э, нет, что-то не так. У меня она, увы, не ослабляется.

А месяца через три я получил из Ленинграда письмо: «Мы уже 7 сентября думаем выехать в Москву. Но здесь так хорошо, что еще не хочется. Написал часть Ушакова^{xxxiv}. Здесь упоительный (! — Е. Л.) военноморской архив» (от 27.VIII.45). Не каждому придет в голову избрать этот эпитет применительно к архиву, но под пером Е. В. в нем не было художественного преувеличения. Он получал подлинное наслаждение от исследовательской работы, и сколько раз я ни пенял ему за то, что, прожив такую полную жизнь и обладая замечательным даром рассказчика, он не выполняет своего долга перед читателем — не диктует своих воспоминаний, он каждый раз отвечал мне одно и то же:

— Я, знаете ли, еще не так стар, чтобы писать мемуары. Пока могу, надо работать, а вот когда состарюсь, пожалуй, последую Вашему совету.

Такой ответ услышал я от него и в августе 1943 г., после окончания «Крымской войны», и весной 1948 г., когда он приступал к исследованию о Северной войне и о шведском нашествии на Россию.

Помнится, после окончания им II тома «Крымской войны» я спросил его, что он теперь делает. Он ответил:

— Думаю. Сижу перед листом бумаги, рисую чертиков и думаю.

Это была пора подготовки им очерка «О приемах буржуазной дипломатии» для III тома «Истории дипломатии»^{xxxv}, и, закончив обдумывание очередной порцией чертиков (рисовать, увы, он ничего, кроме чертиков, не умел!), он с большим подъемом начал писать. Как всегда, он писал быстро, писал от руки, авторучкой (авторучек у него было много, он их постоянно ломал, и при полном безразличии к вещам, окружающим его в быту, он был равнодушен только к хорошей авторучке). Пишущей машинкой он не умел пользоваться и свои научные работы никогда не диктовал. Но темп, с которым он писал свои исследовательские работы, был всегда очень высок — значительно бóльшая часть времени уходила у Е. В. на подготовку работы. Так, например, свое исследование о Северной войне и о шведском вторжении в Россию он начал в июле 1948 г.; уже в начале октября у него были написаны первые десять листов, а все исследование размером до сорока авторских листов закончено было в мае 1950 г., причем параллельно этой работе он не только вел работу

с аспирантами и не прекращал печатание научно-публицистических статей, но и заново отредактировал и дополнил для третьего издания «Крымскую войну». И не успел он закончить «Северную войну», как перешел к новым работам.

Итак, не одна только феноменальная память могла подсечь крылья ученого Тарле и превратить его книги в перепевы чьих-то чужих идей, но и замечательные систематические, неослабевающие поиски, поиски изо дня в день все новых и новых материалов — дьявольская его работоспособность. При такой памяти и такой способности погружаться в свою профессиональную работу из ученого Тарле мог выйти книгочей, и только. Едва ли требуется доказывать, что этого не случилось, — любая страница его наследия, будь то специальное исследование или научно-публицистическая статья, написана так увлекательно, так живо, так мастерски, что каждый даже не очень осведомленный в вопросах истории читатель почувствует эти качества исторической прозы Тарле не менее остро, чем своеобразие его трактовки знакомых исторических событий. В нашей историографии так умел писать только Ключевский, но научная его продуктивность была неизмеримо меньше продуктивности Тарле. Каким же надо было обладать Е. В. исследовательским талантом и какой высокой литературной одаренностью, чтобы такая, как у него, память и такая его жадность к накоплению профессиональных знаний не засушила его манеры повествования по образу и подобию стандартных цеховых опусов.

А когда я вспоминаю его одержимость научной работой, когда я вспоминаю, что в течение последних двух лет жизни он несколько раз бывал на грани смерти, но не прерывал занятий и отступил от своей традиции только в одном отношении — диктовал А. В. Паевской очередную научную статью (от слабости он уже не мог пользоваться авторучкой), мне всегда приходят на память вот эти строки из его письма: «Читаю автобиографию Костомарова, — и он с каждой страницей вырастает как моральная личность подвижника науки. С каждой страницей! Crescendo!^{xxxvi} Суховато, небрежным языком — а нельзя оторваться. Главное — он не сознает своей громадности моральной. И это при тяжелых, десятилетиями длившихся страданиях, и под кошмаром грозящей слепоты, и при десятилетней ссылке» (от 7.VII.49). И от Костомарова мои мысли всегда обращаются к другому подвижнику науки — Евгению Викторовичу Тарле.

Литературное дарование Е. В. столь очевидно, что нет нужды его доказывать: достаточно перечитать его характеристики Наполеона («Наполеон»), термидорианцев и «последних монтаньяров» («Жерминаль и Прериаль»), Талейрана («Талейран»), Кутузова («Нашествие Наполеона на Россию») и Екатерины II («Екатерина Вторая и ее дипломатия»), Петра I и Карла XII («Северная война»), Николая I, Алексея Орлова и др. («Крымская война»), блестящую галерею политических деятелей («Европа в эпоху империализма») и т. д., чтобы отвести Е. В. место в первом ряду выдающихся европейских и наших историков — мастеров исторического портрета. Для лепки таких портретов, какие им созданы, недостаточно глубоких исторических знаний, нужен талант художника, талант Карамзина и Ключевского, Моммзена, Мишле и Маколея. И неудивительно поэтому, что художественная литература была постоянным источником и стимулом его научного вдохновения. При этом интересно отметить: роль художественной литературы как источника эстетического восхищения усугублялась для Е. В. также тем, что этот источник был для него единственный.

Ни музыка, ни пластическое искусство не давали ему удовлетворения. Он добродушно подшучивал над полным отсутствием у себя музыкальности и не проявлял интереса к живописи или скульптуре. Он ценил только некоторые портреты любимых им писателей — те портреты, которые, по его мнению, точно передавали психологические особенности оригинала. При этом он категорически отвергал какие бы то ни было искания в области формы и требовал реализма в духе наших передвижников. Что до собственных изображений, то по неизвестной мне причине он всячески старался уклониться от позирования. Когда это не удавалось и приходилось уступать настоянию общественных организаций, он приходил в сквернейшее расположение духа и заранее восстанавливал себя против портрета. Помнится, он ни за что не хотел повесить на стену автолитографию Верейского, нарисовавшего его прекрасный графический портрет; превосходный портрет маслом, написанный таким большим мастером, как И. Грабарь, держал у себя в комнате повернутым к стене, пока его не отвезли на выставку, а от предложения позировать талантливому скульптору Слониму решительно отказался после нескольких сеансов, и скульптор заканчивал бюст без «натуры»^{xxxvii}. Так же отрицательно относился он и к фотоснимкам,

а потому только на «неожиданных» для него фото можно увидеть его улыбающимся, но когда его предупреждали о съемке, лицо молниеносно становилось хмурым. Как-то я стал рассматривать весьма удачное его фото, и вдруг он совершенно серьезно сказал:

— Да разве у меня такой подбородок, как на фото? Если такой — это ведь ужасно!

Такое же равнодушие, как к музыке и пластическим искусствам, Е. В. проявлял и к театру всех видов, а также к кино — ко всем зрелищам. Было, впрочем, одно исключение: спектакль «Горе от ума», который он видел несчетное число раз и каждый раз смотрел с неослабевающим интересом. Все лучшие русские актеры начиная с 90-х гг. прошли перед ним в грибоедовских ролях, но, беседуя с ним об актерском исполнении комедии, нетрудно было заметить, что он каждый раз смакует не те или иные режиссерские или актерские находки, а звучание грибоедовского стиха, вошедшего во фразеологию русской речи. Наслаждаясь комедией, Е. В. тем именно и отличался от любителей театра, что гутировал не трактовку образов актерами разных традиций, поколений и степеней мастерства, а интонационное богатство грибоедовского афористического стиха, который он знал наизусть. И поэтому его никак нельзя было вызвать на спор о достоинствах и недостатках того или иного Фамусова: он не желал запоминать и потому не запоминал, чем отличается один Фамусов от другого — он приходил в театр не судить исполнение роли, но восхищаться талантом Грибоедова, создавшего у нас непревзойденный образец стихотворного сценического языка. Разумеется, он был полон благодарности исполнителям комедии (часто любил вспоминать Чацкого-Юрьева и постановку комедии в Александринском театре, а из московских театров предпочитал постановку Малого театра), но на первом месте для него был не театр Грибоедова, а его драматургия и прежде всего — художественное очарование его стиха.

Художественное слово — этот единственный для Е. В. источник научного вдохновения — имело великую над ним власть. Мне редко приходилось видеть такую, как у Е. В., непосредственность восприятия художественного слова, такую, как у Е. В., восхищенную реакцию на те или иные стихотворения или отрывки художественной прозы наших классиков. Его необычайная память помогала запомнить огромное количество стихов Пушкина, Лермонтова, Некрасова и отрывков прозы Толстого и Достоевского. Как только наступали для него минуты пере-

дышки в работе — его рука тянулась к кому-нибудь из них. И, если мне удавалось заставить его за этим занятием — за перечитыванием — в который раз — любимого классика или присутствовать при чтении им вслух (для Ольги Григорьевны) каких-нибудь драгоценных для него страниц, — я наблюдал воочию, как потрясало Е. В. эстетическое переживание. Его эмоциональная реактивность напоминала мне восприимчивость отрока, которому впервые открывается мир прекрасного, — над этим большим ученым и старым человеком, в самом деле, время было не властно. И достаточно было после чтения Пушкина или Лермонтова затронуть какой-нибудь факт из их биографий, чтобы убедиться, насколько известны ему не только детали их жизни, но и споры по этому предмету между узкими специалистами-литературоведами (всем памятна, кстати говоря, полемика Е. В. с Б. Томашевским о задачах пушкиноведения)^{xxxviii}.

Е. В. никогда не менял литературных вкусов, всегда оставался верен реализму классиков. Иллюстрацией может явиться забавный отрывок из письма, полученного мной от Е. В. из Ленинграда с оказией перед изданием мною беллетризованной биографии «Диккенс»^{xxxix}: «Жду Вашего Диккенса. Я уже знаю, что начнете, как мне нравится, родился тогда-то, там-то, родители — то-то и пр. А не так: “Он потянулся, чихнул. И рывком родился. А кругом теснились облака со вспотевшими боками. Он поглядел и тоже вспотел”. Вообще будет хорошо, как у Вас бывает, когда Вы пишете в реалистической манере...» (от 24.IX.46). И, разумеется, когда речь идет о литературном языке, память его подсказывает примеры из русской классической литературы. В другом письме — из больницы — он пишет: «Я с Вами согласен, что язык есть нечто исключительное и иррациональное. “Ну, что ж, пойдем! — сказал Раскольников, лениво глядя (подчеркнуто Е. В. — Е. Л.) вдоль улицы” (это когда мещанин у ворот при дворниках, заподозрив, приглашает идти в участок). Ведь никто даже не вспомнит тут о слове “лениво”. Никто!»

Как художник чувствовал Е. В. прелесть фольклора. Поминая недобрым словом язык одного из писателей, он пишет в том же письме: «А вот у безымянных поэтов, чуждых high life'a^{xl}, язык прекрасен:

Ен- деревень-деревень Калуга,
 Деревень-Ладога моя!
 Эх, Тула, Тула, Тула,
 Тула родина моя!
 Эээх, как завел Пахома басом,
 А Ерема дишкантóm!

Зарежьте Н. Н. — он так не споет. А Тургенев (не Н. Н. чета) не скажет:

Мы пришли на остров дикой,
Где ни церкви, ни попов.
Зимовать в нужде великой
Здесь привычен зверолов.
Так уже ль с моей голубкой
По ночам нам розно спать?
Буду я песцовой шубкой,
Буду лаской согреть!

И уже “Воеводу” Тургенев в 1877 году не написал бы, стихия языка затуманилась уже. Вот я теперь ответственный редактор разных *opus’ov...* Так вот, читая сей псевдорусский язык — откуда он?» (от 25.II.54).

Перед глазами у меня больничная палата и изможденный, измученный физическими страданиями старик, которому еще трижды суждено побывать в той же больнице, прежде чем благодетельная судьба не положит конец его страданиям. Это случится уже месяцев через десять после приведенного письма, в котором художественная память Е. В. помогает нам почувствовать, каким он был тонким ценителем выразительных средств художественного слова.

В письмах он пользуется любимым поводом, чтобы заявить о преклонении перед художественным гением любимых им писателей и объяснить основания своих оценок. В одном из писем мне захотелось поддразнить его, «поставив на вид» обожаемому им Лермонтову его известную ошибку в переводе четверостишия Бернса, данного Байроном эпиграфом к поэме «Абидосская невеста». Как известно, Лермонтов понял английское слово *kindly* («нежно») в связи с немецким *Kind* («ребенок»), и потому первая строка звучала у него: «Если б мы не дети были». С какой горячностью Е. В. доказывал право Лермонтова на ошибку! Он отвечал мне письмом: «Во-первых, тут “по-детски” **лучше** (подчеркнуто Е. В. — Е. Л.), чем “*kindly*” (по существу), а во-вторых, что же отсюда следует? Лермонтов никогда точно не переводил, и у него выходило всегда лучше, чем у архиточных переводчиков или чем у авторов, даже лучше, чем у Гейне (а о Бернсе и говорить нечего). Будто “На севере диком стоит одиноко” — точный перевод! Будто *die Decke* очень точно переводить “как ризой одета она”. Но риза тут в 10 000 раз **лучше** “одеяла”. И я заметил, что если кто очень занят этим *kindly*, тот не весьма чует великость этого нашего алмазного Казбека (так Е. В. часто называл Лермонтова. — Е. Л.).

Но Вы чуеете. Оттого я и сержусь. А знаете ли Вы, что *kindly* и *kindred* — одной семантики? И что от *kindred* до *Kinder* — рукой подать. Семантическая группа этих англо-саксо-юто-фрисландских слов переплыла Северное море прямым поручением на восточный берег Британии. И конечно “ошибки” Лермонтова страшно кстати!»

И Е. В. пользуется подходящим случаем, чтобы внушить мне такое же благоговение к поэтическому гению Лермонтова, с каким сам всегда к нему относился. Он продолжает: «А “Воздушный корабль!” Почитайте анализ этого “перевода”, сделанный покойным М. Н. Розановым! En regard оба текста, и можно лишь онеметь от восторга, что Лермонтов из такого булыжника сделал такую бесценную жемчужину, такую нездешнюю музыку! А уж там таких *kindly* не перечесть. Так, только ошибками, наш чародей увел нас из бидемайеровского зейдлицевского Klavierabend^{XL1} — в музыку ночи на океане, откуда-то жалующуюся и о чем-то плачущую. И все ошибки! Уж такой был неграмотный бедняга. Плохо учили в кавалерийском училище языкам! Да если б Лермонтов был вполне точен, то у нас и было бы ein ganz nettes Gedichtchen^{XLII} Зедлица и не было бы этого фантома ночных морей, этого бессмертного “Воздушного корабля”. И Вы, такой тонкий ценитель поэзии, интересуетесь, “точно” ли перевел Лермонтов то или иное слово из малюсенького Бернса, который был для него только канвой, как и Зедлиц, как и Барбье и др. И, конечно, лучше, эмоциональнее, страстнее, чем “дети”, тут нельзя сказать!» Одна мысль о том, что эта смысловая ошибка Лермонтова может хотя бы в малейшей степени бросить тень на великого поэта, приводит Е. В. в священный трепет. И поистине никто не дал бы отповедь всем сторонникам Бернса лучше, эмоциональнее, страстнее, чем сделал это Е. В. Свою отповедь он кончает так: «Dixi^{XLIII}. О моем Лермонтове не можете: я его не уступлю никому» (от 9.I.49).

За неделю до этой отповеди он писал: «С упоением читаю только что вышедший II-й том “Лит[ературного] наследства” (о Лермонтове): еще интереснее I-го тома. Грусть... Не уберегли этот алмазный Казбек поэзии... “И томим зловещей думой, полный черных снов...” Это он о себе писал и черные сны видел тоже о себе...» (от 2.I.49). А через несколько месяцев он снова пишет: «Купил новое четырехтомное полное издание Лермонтова (1949 г.) и читаю, как в первый раз. Был всего гусарский поручик, а посмотрите, как писал!» (от 8.VI.49).

Если кто-нибудь не признавал великого поэтического дара Некрасова, Е. В. не мог с этим примириться, а «Коробейников» считал одним из самых совершенных стихотворений в русской литературе. Сколько раз я заставлял его за Некрасовым, которого он любил читать Ольге Григорьевне!

Среди художников-публицистов было у него два любимых имени: Щедрин и Герцен. Как-то я подарил ему довольно плохую фоторепродукцию с портрета Щедрина, о котором он не раз говорил мне, что, «конечно, это самый сильный сатирический писатель мировой литературы». Е. В. долго не выпускал из рук наклеенную на паспарту репродукцию и несколько раз повторил: «Вы посмотрите, какое мятежное лицо!», а затем вдруг добавил:

— Вы знаете, что он никогда не улыбался!

На следующий день я увидел паспарту со Щедриным на полке диванной спинки в самом центре комнаты. Е. В. снова, глядя на репродукцию, сказал, что вчера после моего ухода он в течение получаса не мог оторвать взгляда от этого лица. А в одном из писем — в том, где он пишет о «Лит[ературном] наследстве», посвященном Лермонтову, он сообщает: «Кстати, меня распотешил Щедрин (в его письмах). Тургенев в 1862 г. очень некрасиво себя держал, каялся в знакомстве с Герценом, ругал, где ненужно, нигилистов и пр. Ему за это — общественно — влетело, он сконфузился, обиделся, уехал надолго за границу. В 1865 г. приехал в Петербург, и Щедрин пишет в письме к Елисееву: “Кстати. Тут Тургенев. Сей старец дорог нам, он блещет среди народа священной памятью 62-го года”^{хлв}. Взять стих Пушкина о Шишкове и о 12-м годе — и сунуть его сюда, без пояснений, без продолжения и без кавычек, и когда Тургеневу (поседевшему в молодости) было всего 47 лет от роду, согласитесь, что это ехидно и потешно».

Герцена он не только любил с давних пор, но работал над ним, и в ряде больших статей («Неизданные письма Герцена» (1908 г.), «Герцен и германская государственность» и «Афоризм Герцена» (1915 г.), «Письма Герцена к Эдгару Кинэ» (1918 г.)) отразилась его оценка художественного таланта Герцена. В письмах из Ленинграда он возвращается к ней не раз: «Я работаю над Екат[ериной], но, увы! не весьма успешно. Упи-ваюсь чтением моих здешних книг — Герцена etc... etc... Как он пишет! («Но вот послышался и густой, тяжелый, сытый голос Таймса, и Таймс благосклонно протянул нам свою жирную лапу»). Так только у Герцена

выходит!» (от 17.VI.46). И еще: «У меня период кайфа и чистых нег — как говаривал Александр Сергеевич — т. е. я ни бельмеса не делаю, а сижу в глубоком кресле и перечитываю Герцена. Его гениальность по своим размерам равна бездарности Огарева» (от 15.VII.46). И снова через месяц, оттуда же, из Ленинграда: «Я упиваюсь его (Герцена. — Е. Л.) 22 томами и, читая их в десятый раз, нахожу в них новые и новые пучины красоты, поэзии, художества и полета мысли. Особенно художества! Он — целый микрокосм мысли, чувства (искреннего, чистого, свежего, настоящего) поэзии, блеска дивного остроумия. Я его так люблю, что этого на одной открытке не напишешь, а посему умолкаю» (от 23.VIII.46).

Е. В. не мог спокойно говорить о художественном таланте Толстого. Все лицо его светилось счастливой улыбкой, когда он цитировал наизусть длинные абзацы из «Войны и мира» или «Хаджи-Мурата». Мы не раз говорили с ним о толстовской философии истории, но рассуждения Толстого он всегда называл «неудачными». Что до «Хаджи-Мурата», то в одном из писем, о котором еще придется упомянуть, Е. В., вспоминая окончание «Вечного мужа», пишет: «Так же, как Лев Толстой: взял почти буквально из воспоминаний Полторацкого, мазнул чуть-чуть перышком — и вышли бессмертные главы “Хаджи-Мурата”» (от 22.IV.48).

В минуты отдыха он ищет новые материалы о Толстом или перечитывает хорошо ему известные. Вот он сообщает: «Я перечитываю “Литер[атурное] наследство” (II том о Толстом). Критик С. Навалихин в журнале “Дело” писал о Толстом (по поводу «Войны и мира»), что Толстой “неумный, ограниченный в кругозоре, но речистый офицер” (текстуально). И Толстой злился, обижался, перестал на целый год читать газеты и журналы» (от 4.X.1951).

Необычайная память Е. В., позволявшая ему помнить когда-либо прочитанные страницы любимых авторов, не мешала ему вновь и вновь ими наслаждаться. Но с особой жадностью он искал новые публикации. В другом письме мы находим: «Читаю новые томы советского издания Льва Толстого. Перелистывая, набрел на такое морс^{XLV}: “русские либералы думают, что они незаметно от правительства будут проводить свою программу: это все равно, что усесться у ног человека и начать постепенно отпиливать у него ногу и надеяться, что это ваше занятие будет для него незаметно”. Вспомнил это ни с того, ни с сего. Это Лев Толстой писал в древности — сорок пять лет назад. Вообще эти новые томы дают массу неизданного» (от 29.XI.48).

Помнится, я принес Е. В. автолитографию работы большого художника Леонида Пастернака, который зарисовал Толстого за письменным столом. Радость Е. В. меня даже удивила, а в одну из наших последующих встреч он сказал:

— Иногда я подолгу смотрю на этого человека. Вы только взгляните: какой замечательный у него затылок!

Расшифровать это замечание можно было только в одном смысле: ему казалось, что художник нашел необходимую и убедительную форму для воплощения художественного гения Толстого и его воли.

Но следует признать, что наиболее пристальное внимание Е. В. привлекал Достоевский. Память помогла ему разбираться в наследии Достоевского с не меньшей свободой, чем ученому-литературоведу. Ему были хорошо известны все исследования достоевистов, а сам он то и дело сопоставлял исторические факты с отражением их в творчестве Достоевского. Образцом таких сопоставлений является, например, следующий абзац: «Скажите милой Н. Н.^{xlv}, чтобы она 1) достала П. Ковалевского “Стихи и воспоминания” 1912 г. и прочла там очерк о М. Глинке, а затем 2) перечитала бы в “Вечном муже” сцену у Захлебниных. У П. Ковалевского идет об этом самом (подчеркнуто Е. В. — Е. Л.) вечере с Глинкой и у П. Ковалевского мелькает молодой Вельчанинов (явственно!). Золотенькая моя Н. Н., умоляю, прочтите!» (от 15. IV.48).

Эта мысль не дает ему покоя. Через неделю он пишет в письме, о котором я упоминал в связи с «Хаджи-Муратом»: «Я и вечером в кресле и жалею, что Вас нет здесь. “Поговорим о славных днях Кавказа, о Шиллере, о славе, о любви”. Передайте Н. Н., что я не принимаю никаких отлыниваний (P. S.: чуть не написал: отланиваний): пусть обратится к Паевской от моего имени, попросит достать ей из любой библиотеки: П. Ковалевский. “Стихи и воспоминания”. СПб., 1912 и там пусть прочтет о Глинке, а прочтя, пусть en regard прочтет конец главы “У Захлебниных” из “Вечного мужа” (когда в час веселый откроешь ты губки и мне заворкуешь нежнее голубки...). Ведь эпизодический красивый юноша на вечеринке — Глинка (у П. Ковалевского) — это, конечно (подчеркнуто Е. В. — Е. Л.) молодой Вельчанинов! Как это характерно для гения! Не то угадал интуицией, не то в пол-уха услышал о вечеринке — и сразу же воссоздал» (от 22.IV.48). А вслед за этим идет упоминание о Толстом...

Достоевский был его «вечным спутником». Достоевский потрясал его не только художественным гением, как потрясал Толстой, но шквалом

идей, которые рождались постоянным с ним общением, а о некоторых его произведениях Е. В. думал чаще, чем о каких бы то ни было других. И в частности о «Бобке». Как я уже говорил, он знал повесть почти целиком наизусть, и мне глубоко запала в память одна с ним беседа.

Началась она с моего заявления, что умирать я буду с Гоголем. Поняв, что это не так, Е. В. сказал сразу:

— А я, когда буду околевать, то с «Бобком». Ведь сколько я ни думаю, я не могу объяснить, как мог Достоевский написать «Бобка». Ну скажите мне — как он мог?!

Я попытался отделаться общими фразами, что это, пожалуй, наиболее «достоевская» вещь из всего его наследия. Но Е. В. был настойчив.

— Это не ответ. Погодите — Вы помните? — И он начал цитировать большие куски из повести. — Не уклоняйтесь. Скажите, как могло ему прийти в голову написать эти строки, если он верил в Бога? Подумайте и скажите!

Я видел, что общими фразами не отделаться, и сказал примерно так:

— В «Бобке» Достоевский отплясывал на собственной могиле и показал самому себе язык. Это изощреннейшее кощунство, и Достоевский в «Бобке» перверсирован больше, чем где бы то ни было. В этом смысле я и полагаю, что «Бобок» — самая «достоевская» из всех его вещей.

— Но он-то верил в Бога? — спросил Е. В. так же настойчиво.

— Мне кажется, что «Бобок» доказывает обратное.

Е. В. долго молчал, затем сказал:

— Пожалуй, это так. Разве тот, кто написал «Бобок», мог верить в Бога! Ах, какая это вещь! Чем больше я думаю, тем больше не могу от нее оторваться.

И он долго смотрел вдаль, не мигая...

Но преклонение перед Достоевским не мешало ему весьма строго судить тех его последователей, которые оправдывали «перверсированием» любую подлость и черпали вдохновение в «Дневнике писателя». В частности, о В. В. Розанове он писал: «Читаю В. Розанова, который есть (когда еще не околел) арифметическое среднее из 1) юродивого настоящего, 2) юродивого прикидывающегося, 3) платного мерзавца, 4) эротомана-ханжи, 5) лжеца, клеветника и труса и 6) sui generis мыслителя. И все это с какими-то нарочитыми смягчениями (то, что Сергей Атава называл *une dame légèrement bladoyante*^{XLVII}) (вроде того, как не *verte*, а *verdoyante*)^{XLVIII}» (от 26.VI.50).

Отталкивание Е. В. от конфессионализма во всех его видах превосходно иллюстрирует его отзыв о Владимире Соловьеве. Он пишет: «Читаю переписку Вл. Соловьева. Не определил: на 25 или на 32 % он кривляется, но что процентов на 70 (или 65) он вполне искренен — это для меня факт несомненный. И — рядом с поражающими глубокой эрудицией вещами — полтома (в его Собр[ании] сочинений) — какие-то ослячье-дьячковские бормотания про великий пяток, великий четверток, проповеди, переписка с (тоже поврежденным в уме) братом во Христе епископом Штроссмайером etc. etc. “Так в ненастные дни занимались они делом”... Эти рыхлые сонные 80-е годы располагали к таким pastiches. Прочтите непременно в Брокг[аузе]-Ефроне его статью о Сведенборге. Непременно. Псих? Кривляка? И то и другое, конечно, но есть и третье — неопределимое» (от 28.I.51).

Конечно, Е. В. не мог не быть под обаянием Чехова. «Упиваюсь, — пишет он, — перечитыванием писем Чехова. Письма с дороги (по пути на Сахалин) — верх совершенства, они сто́ят его лучших созданий. Я их читаю за свое земное странствие, кажется, в 10-й раз, и наслаждение совсем новенькое и самое острое» (от 26.VI.49). В другом письме он предлагает мне перечитать «Рассказ неизвестного человека» и воспоминания (в «Красном Архиве») Льва Тихомирова, «скорбного, но подлого полупрохвоста». Е. В. сопоставляет эти две фигуры — героя Чехова и известного ренегата Льва Тихомирова и бросает интересное замечание о типичности обеих фигур. «Л. Тихомиров несчастен и антипатичен до *nes plus ultra*^{XLIX}, — пишет Е. В. — “Неизвестный человек” — несчастен и благороден. Наваяло ли Чехову или независимо? Без этого типа 80-е годы были бы неполны, и Чехов был бы неполон. Перечитайте то и другое» (от 2.IX.51).

Коснувшись тех литературных догадок, которые возникали у Е. В., когда его память сближала созданных писателями героев с историческими лицами, знакомыми нам по мемуарам, нельзя пройти мимо характеристики другого известного мемуариста — графа Соллогуба, автора «Тарантаса». Характеристика начинается с подшучиванья над поэтом-символистом Сологубом: «Еще читаю Соллогуба (не Федора: «Расстегни свои крючочки и тесемки распусти! Тело, жаждущее боли, непостыдно обнажи!»), а другого, графа Соллогуба. Он поверхностен и подловат слегка, но воспоминания занятные». Тут память Е. В. подсказывает ему эпиграмму Минаева на Соллогуба — кто о ней помнит, кроме

Е. В.!: «Как вы — я Пушкина знал — его видал на Невском издали. Об этом книжку я издал — точь-в-точь как вы когда-то издали. И тоже я стихи писал — точь-в-точь как ваши — хромоногие. Так схожи с вами мы вполне, ну, прямо, скажем, как немногие!» И теперь Минаев отравил мне чтение воспоминаний Соллогуба. А жаль, врет занимательно» (от 22.IV.48).

Е. В., отдавший большую часть своей жизни научной работе над проблемами всеобщей истории, весьма равнодушно относился к западной классике; это парадоксально, но бесспорно. Его эрудиция в области западной литературы была велика, но на художественное мироощущение западная классика несколько не влияла. Интерес к ней был интересом ученого, который мог, например, написать: «Видали ли Вы Robert Wyse Jackson “J. Swift Dean and Pastor”? Занятно, стащил ли он у Gwynn’a, Leslie, Ньюмена, Jeats’a и как их там еще — или самостоятелен? Я книги не видел — видел лишь анонс... Желчный ракальон был St. Patrick’s saucy Dean¹, но пикантен и занятен в каждой своей шельмецкой морщинке» (от 21.X.39).

Но когда наступали минуты отдыха после работы, лекции, совещаний, после приема посетителей, рука его тянулась к русским классикам или, скажем, к лесковскому «Отборному зерну», о котором он писал: «Читаю в 40-й раз “Отборное зерно” Лескова. Знаете, это лишь под силу Чехову было бы! Умоляю, прочтите!» (от 6.XI.51). Только русское художественное слово было для него источником глубокого духовного наслаждения, а вместе с тем и творческого вдохновения. И для меня не было неожиданностью, когда в одной из бесед — это было 20 марта 1949 г. — я услышал от него:

— А для меня русская история интереснее, чем любая другая. Больше всего я люблю русскую историю.

Библиография научных работ Е. В. за последние пятнадцать лет его жизни являются лучшим доказательством того, что эти слова не есть эмоциональная декларация: работы Е. В. оставили глубокий след в русской историографии, а одним из стимулов для работы в разных областях истории России бесспорно является Великая Отечественная война и послевоенная международная обстановка.

Но среди литературных классиков Запада одно имя вызывало восхищение Е. В. — имя Мопассана. Как-то, не помню по какому поводу, я выразил в письме сожаление, что французский классик слишком

большое место уделяет сексуальным переживаниям. В ответ на это я получил темпераментную апологию Мопассана и его художественного гения: «Насчет Мопассана не согласен. Он реалист, и что же ему делать, если французы этим самым так увлекаются. Ну, а Ваши Олдусы Гаксли и прочие Maugham'ы? Что ни строка, то sex appeal, что ни абзац, то форникэшъен^{LI}. После Виктории они обесстыжили вконец. Мопассан в "L'Épave", в "M-elle Hortense"^{LI}, etc. нежен, тонок, глубок, поэтичен, трогателен. Вольно же Вам читать его в дубовом переводе (а Мопассана нельзя (подчеркнуто Е. В. — Е. Л.) переводить)! Ведь это все равно, как (по словам Розанова по другому случаю) если бы Вас принудить читать "Евгения Онегина" непременно в кратком пересказе Скабичевского. Если б у меня в доме завелся Мопассан в переводе, то я его сжег бы в печке. Мопассан — поэт, и поэт настоящий, но (подчеркнуто Е. В. — Е. Л.) по-французски» (от 17.VI.1949 г.). Когда же я в ответной реплике шутливо сравнил Мопассана с английскими драматургами эпохи Реставрации, Е. В. подал реплику благодушную: «И Вас не угрызает совесть, что Вы по поводу Мопассана помянули этих уичерлеевских ростбифов вроде его Горнера и др. ejusdem farinae!^{LI}. Все они impertinent black coat^{LIV} сравнительно с Мопассаном» (от 7.VII.49).

Но при том рабочем режиме, какой создал для себя Е. В., ни русская классика, ни Мопассан не давали ему полного отдыха, когда утомленный мозг в этом нуждался. В свое время Е. В. пренебрегал советами врачей и расплатился хронической жестокой бессонницей; снотворные мешали работе следующего дня, классика и Мопассан были бессильны бороться с бессонницей. Надо было найти средство, которое могло бы целиком разрядить мозговое напряжение; такое средство было найдено в виде английских детективных романов. Они сохраняли для Е. В. несколько часов сна в течение ночи.

Своими соображениями об этом увлекательном жанре он делился не раз; эти соображения разнообразны: «Спасибо великое Н. Н., — пишет он, — за книгу. Это — из той разновидности, которую я обозначаю № 2. № 1: сквайр Генри Пудинг зарезан, двоюродный брат заподозрен (ибо он heir apparent)^{LIV}, — но невзначай, однако гениальный скотленд-ярдовец находит истину: убийца — скромная девушка 17 лет с голубыми глазами, наиболее горевавшая. № 2: подозрительные четыре хари в лохмотьях, со зловещим отблеском джина в глазах, в подвале Уайтчапеля настраивают морфиноманку ограбить лорда Дэффа Носингэма etc. Но из полу-

круглого бюро в момент ограбления выскакивает шантажист, и морфинманка должна отдать ему добычу, а четыре Билля Сайкса (см. выше, в подвале) систематически выслеживают зато шантажиста и угробливают его, когда он завтракает в Savoy. Видите, что родись я под другой звездой — и может быть мир имел бы другого Wallace'а» (от 24.IV.39).

О своих вкусах в этом жанре он сообщает в другом письме: «Отослал вчера Н. Н. Wallace'а. Ничего себе, лучше других его вещей. Но тоже в стиле для шоферов: шайка, в зубах кинжалы, рычаг, бросаются, прошибают стены! Мне бы тихонькую ерунду Агаты Кристи, где старая тетка действует шприцем Праваца!^{LVI} (от 16.XI.39). Упомянутый Уоллес вызывает по другому поводу более резкую характеристику: «Он болван, увы! Ну что за рассчитанная на мальчишек чушь, Reeder в разгаре своих тес'ных^{LVII} усилий стреляет не то горохом, не то клюквой из окна в контртеков. Это не роман, а кинофильм для хулиганов младшего возраста» (от 24.VI.40). Более снисходителен он к другому опусу: «Кончил 'The Nook...'^{LVIII}. Очень занятно в начале и в Mittelspiel'e (как у Бондаревского), а в конце неизбежная ерундистика с priceless'ными^{LIX} брильянтами в вазе — ни к селу, ни к городу... Словом, как всегда у теков (т. е. в детективных романах. — Е. Л.). «Начнет как Бог, а кончит как свинья»» (от 24.VI.40).

Но бывало и так, что чтение какого-нибудь хитроумного «тека» захватывало Е. В., а в таких случаях автору такого опуса доставалось еще больше, чем бездарным образцам этого жанра. В одном из писем он пишет об одном таком романе под заглавием «The Ringer»^{LX}: «Пусть Н. Н. посмотрит конец: ракалья автор заврался и запутался, что сначала явно ведя к тому, что Ringer это Bliss, разоблачаемый Lomond'ом (что было логически подготовлено и имело человеческий смысл), вдруг подвергся, ни с того ни с сего внезапному припадку острого идиотизма — и сделал Ringer'ом самого д-ра Ломонда! Этот ослиный [нрзб.] in the dark (in the ass-like stupidity)^{LXI}: (даже меня, знающего своих Поппенгеймеров, пишу-щих the fiction'ы, — привел в оцепенение). Но до последней страницы захватывающе интересно. Непременно пусть Н. Н. просмотрит конец и скажет свое мнение. Мы бы с ней гораздо лучше распутали и закончили эту вещь» (от 29.VIII.39).

Переключение работы мозга на другой регистр за чтением какого-нибудь «тека» оказывало на Е. В. благотворное влияние. Не мешало этому и задание, которое иногда он себе ставил: как можно скорее распутать сюжетный узел или ловить автора на очередных «идиотизмах».

«Читали ли Вы книгу Bell о великих математиках^{LXII}? Вышла не так давно — еще во время войны... Книга Bell'я замечательно интересна даже для таких платонических любовников неэвклидовой геометрии, как я, одаренный от природы математическими способностями не только экономно, но до цинизма скупо...» (от 26.VI.49).

Он не раз подшучивал над своими «скупыми» способностями к математике. Но это не мешало ему пытаться «понять» исходные позиции некоторых разделов математики или физики. У каждого из гуманитариев, пытливость которых не ограничивается проблемами гуманитарных наук, есть область в науках точных, которая особенно его беспокоит. Такой областью была для Е. В. геометрия Лобачевского.

К сожалению, наши беседы на темы, нас беспокоящие в весьма чуждой области, напоминали споры двух слепцов о светотени Рембрандта. Но я чувствовал, что сознание своего бессилия проникнуть в такие дебри, как неэвклидова геометрия или теория относительности, является для Е. В. источником подлинной тревоги. Он именно с тревогой искал ответы на основные и весьма сложные вопросы высшей математики. Популярные изложения волнующих математических и физических проблем (что было более или менее доступно нашему пониманию) не удовлетворяли его. Они, как всегда, были бессильны осветить профанам узловые вопросы, не прибегая к математическому языку, и Е. В., чувствуя, что из-за недостатка знаний не вполне понимает объяснения, — нервничал. Психологически было очень интересно наблюдать эту его нервозность, когда ему казалось, что мастера точных наук касались не главных философских вопросов физики и математики, которые имеют для человеческой науки необычайно важное значение, а проблем боковых... Так было, например, с оценкой одной известной философской статьи видного физика о микромире, которую я советовал ему прочитать^{LXIII}. Мы возвращались к этой теме дважды, и статья его не удовлетворила. Он писал с волнением, ибо считал, что известный физик решает не главную задачу. «Он (автор. — Е. Л.) ведь ставит (не он первый) в 1001-й раз со времен Бернулли очень волнующий и загадочный вопрос — как, почему... сквозь мир прореднулись строжайшие, точные математические законы и соотношения (вопрос о субъекте ненаучен и не о нем идет речь), но как?» (от 15.IV.48). В следующем письме ему кажется, что автор «запутывает,

а не разъясняет волнующие, важные, грозные проблемы, поднятые Нильсом Бором, Эйнштейном, Планком с его квантами...» (от 22.IV.48).

Ему кажется, что живое слово облегчит понимание эзотерического языка и позволит проникнуть без специальных знаний в «грозные проблемы». И он опрашивает специалистов, а потом сообщает о своих беседах:

— Как Вы думаете, — говорит он, — где можно достать новую книгу Эддингтона?

Шла Отечественная война, я выразил сомнение в том, что во время войны можно нам достать книгу Эддингтона, и спросил, почему он ею заинтересовался.

— Мне рассказывал о ней академик В.^{LXIV} Вы ведь знаете, что Эддингтон разделяет взгляды Эйнштейна о конечности вселенной... Эта идея мне кажется ошибочной, даже если принять во внимание, что протяженность пространства измеряется, по Эйнштейну, двумястами миллионами световых лет... Ну вот, в своей последней книге Эддингтон как будто утверждает и доказывает, что из всей вселенной наша земля — избранница, она — единственная точка, годная для развития органической жизни. Единственная во всей вселенной. Как Вам это покажется!

В другой раз он интересуется вопросом, как обстоит дело с вечно интригующей его неевклидовой геометрией. И пишет: «Спрашивал вчера профессора математики, как теперь с геометрией в средней школе? Он ответил: “Мальчика учат: прямая линия есть кратчайшее расстояние между двумя точками; сумма углов треугольника=двум прямым etc; весь год учат этому, а в конце прибавлено в учебниках странички две-три мелким шрифтом (как бы маленький P. S), сообщают, что вот мол жил в Казани некто Лобачевский, так он доказал точно, что все это сплошное вранье (и о кратчайшем расстоянии и о двух d , и о параллельных и т. д.). Так вы, детки, уж там как-нибудь сами разбирайтесь, кто прав, кто виноват”» (от 17.VI.49).

Такое отношение к Лобачевскому не вызывает у него восхищения, так же как и результаты первых наблюдений в сверхтелескоп в Паломаре, открытый для работы 1 сентября 1948 г. В детстве интерес к астрономии зажег в нем, как это бывало со многими, Фламарион. С годами устремления Фламариона Е. В. распознал задолго до того, как писал мне: «Одновременно просмотрел старую глупую бабу Фламариона, извра-

тителя астрономии в интересах римского папы» (от 26.VI.50). Но живой интерес к астрономии у Е. В. никогда не угасал, угас только интерес к Фламариону. Первые сообщения прессы о том, что наблюдения в упомянутый сверхтелескоп в Паломаре не смогли расширить наших знаний о границах вселенной, волнуют. «И вот он, каналья, зиркает, зиркает по небу (глагол «зиркать» — киевский) — и... ничего пока не нашел» (от 26.VI.49). Шутливый тон не может скрыть подлинного огорчения: неужели надежды астрономов не осуществляются и понапрасну затрачено столько человеческого труда — «одну только линзу гранили одиннадцать лет!». Е. В. слишком хорошо понимает глубину разочарования ученых, напрасно рассчитывавших познакомить человечество с новыми галактиками и тем самым приблизиться еще на один шаг к познанию мира. И когда наконец приходит весть о том, что новые галактики и сверхгалактики найдены, Е. В. тотчас же сигнализирует в письме, ссылаясь на статью астронома-популяризатора В. Львова: «Уже усмотрены галактики в миллиарде световых лет расстояния от нас. Довольно далеко, считая 300 000 километров в секунду: ведь в миллиарде лет — довольно много секунд» (от 4.VIII.50).

Увлечение галактиками и Лобачевским имело совсем иную психологическую основу, чем размышления на любые темы любой из гуманитарных наук. Огромная притягательная сила точных наук была для Е. В. в том, что в самых сложных разделах эти науки вели кратчайшим путем к разрешению ключевых проблем мироздания. Но судьба одарила его математическими способностями «до цинизма скуп», дорога к творчеству в любых разделах математики и физики была для него закрыта, и оставался только один выход — чтение популярных сочинений по физике и астрономии. Но как мог он находить для такого чтения досуг — это было всегда для меня непостижимо, ибо, кроме всего прочего, ему приходилось отвечать еще на письма, что он делал неукоснительно. А письма он получал весьма разнообразные.

— Неужели Вам придет охота ответить на этот вопрос, — спросил я его, когда он вскоре после окончания войны протянул мне письмо, адресованное академику Тарле. В этом письме некий житель Минеральных Вод просил ответить в порядке консультации на ряд вопросов по древней и средней истории, а также: «что изучает наука Философия» и «Понятие об этнографии» (так и было написано). Смеясь, Е. В. протянул мне другую записку.

— Мне сегодня везет, — вот и на это надо отвечать. В этом втором письме неведомый автор сообщал, что он прочел книгу «Нашествие Наполеона на Россию» и предлагает академику Тарле писать совместно с ним сценарий на эту тему. Для того чтобы окончательно соблазнить академика, будущий его «соавтор» прибавляет: «Гонорар, конечно, пополам».

— Если Вы и этому субъекту станете утверждать, то побьете рекорд деликатности.

— Да что Вы, разве это деликатность! Вот мой профессор Фортинский был поистине деликатен. Вы помните — ректор Киевского университета в бытность мою студентом, тот самый, кто задал мне вопрос о Германе Калеке. Так вот. Медиевист он был сведущий. У него была такая манера: как только подходил к новому разделу и в связи с этим касался вопроса, еще им не освещенного, начинал освещать его *ab ovo*^{LXV}. Помню, подошел к разделу о завоевании Испании маврами. Разумеется, пришлось говорить о магометанстве. И тут начал он *ab ovo* рассказывать о рождении Магомета, указав, что он не специалист по этому разделу истории Востока, но излагал историю ислама, ссылаясь на солидные имена ориенталистов. Упомянул и о весьма необычном явлении, связанном с рождением пророка. «Он писал, этот летописец, — сказал Фортинский, — что, когда мать Магомета была беременна им, то вокруг ее чресел можно было легко различить сияние». Затем Фортинский сделал паузу и закончил: «Автор этого свидетельства был в то время в Медине, а Магомет родился в Мекке. Из этого явствует, что автор измышляет...» — Вы подумайте! — засмеялся Е. В. — Вот это деликатность! Стало быть, этот факт не потому ложен, что сплошная белиберда, а потому, что летописец не мог, видите ли, его наблюдать — находился на почтительном расстоянии от такого феномена. И, значит, магометанам — а среди студентов могут быть и магометане — несколько не будет обидно, а ведь для них могло быть обидно, если это свидетельство назвать ложным по существу. Вот как деликатен был Фортинский! А Вы сочли деликатностью мою привычку отвечать на письма!

— Дело тут не в привычке отвечать на письма, а в боязни кого-нибудь обидеть.

— Да полноте! — засмеялся он.

Однако я был прав. Е. В. не всегда отвечал на письма. Эпизод с одним из неотправленных писем — нельзя забыть тому, кто хочет сохранить в памяти подлинный образ академика Тарле.

Этот эпизод произошел в мае 1946 г. Я знал, что месяца за два до встречи он получил извещение об избрании его доктором *honoris causa* университетом в Осло.

— Можете меня поздравить: меня почтили избранием действительным членом Норвежской Академии наук.

Он чуть выдвигает нижнюю губу, сдвигает брови и старается сделать голос официальным — все это хорошо знакомые признаки легкого смущения.

— Поздравляю. Поедете, кстати, получить диплом университета?

— Нет, не поеду. Наш посол получит и диплом и кольцо.

— Какое кольцо?

— Разве я Вам не показывал письмо из университета?

— Нет.

Начинаются поиски письма. В них участвуют и домашние. Тщетно. Это обычная история. Письмо университета в Осло не находят. Вместо него находят три других: одно извещение 1944 г. Алжирского университета с аналогичным избранием почетным доктором. В 1944 г. в Алжире собрались все научные силы Франции, которые не считали возможным оставаться на оккупированной нацистами земле. Проглядываю извещение, запоминается печать с изображением пальмы, а внизу — после текста — оповещение о том, что диплом на пергаменте будет выслан дополнительно. Второе найденное письмо — то самое извещение о выборе членом Норвежской Академии наук, о котором шла речь. Но письма университета в Осло нет. Я прочитываю извещение Академии — его привез Е. В. норвежский посол совместно с советником посольства. И спрашиваю:

— А Вы заполнили карточку, которую они прислали? Это, вероятно, анкета?

— Оля, я заполнил карточку?

Ольга Григорьевна не знает. Е. В. растерян.

— Не помню. Кажется, заполнил. Да, да, заполнил.

— И отослали ее?

— Конечно, отослал.

Поиски письма продолжают. Его не находят.

И вот я стою на лестничной площадке у лифта. Дверь в квартиру открыта. Вдруг слышу по коридору квартиры топот. Е. В. почти выбегает на площадку, где мы стоим с Ольгой Григорьевной. В руках его — кон-

верт, который он вручает мне. Я достаю письмо и читаю. Университет в Осло сообщает о церемонии, которая состоится 6 мая 1946 г. на предмет вручения диплома профессору Тарле, а также просит сообщить диаметр кольца, которое пришлось бы по руке уважаемому профессору. Тут же присовокупляется, что кольцо серебряное.

— Это вместо мантии, которая полагается в других университетах, впрочем, мантию теперь не дают. Ха-ха!

Я ощупываю конверт, открываю его.

— Здесь еще что-то.

Открываю конверт. Карточка, которую надо было заполнить для Норвежской Академии наук и которая «уже отослана»! Непонятно, как она попала в конверт с письмом из университета, полученным совсем в другое время.

— Вот та самая карточка, Е. В. И Вы ее не заполняли!

— Да что Вы! Как Вам это покажется!

Эпилог эпизода: кольцо из университета в конце концов было получено. Но, надо думать, ученые мужи Осло недоумевали. Е. В., должно быть, перепутал диаметр с окружностью, ибо кольцо легко могло налезть на палец больного слоновой болезнью.

Еще через два года, возвратившись из Чехословакии после торжественного вручения ему диплома почетного доктора в двух университетах — в Праге и в Брно — Е. В. шутливо говорит:

— Увы! Приехал домой без мантии. Нынче принято всюду экономить. На докторов только надевают мантию, а потом стаскивают с плеч. Сорбонна, впрочем, прислала взамен мантии лоскуток горностая...

— Видите, Вас чтят любимые Ваши французы!

— А Вы знаете, как они чтили Суворова? Нет? В малом Ларуссе, изданном в начале нашего века, можете ознакомиться: Суворов, дескать, подавил восстание поляков, сражался против итальянской революции и был разбит Массеной. Вот и все. Впрочем, и у нас тоже энциклопедические словари хороши! Возьмите Граната, раскройте на букву К. О мадам Кусковой найдете в два раза больше, чем о Кутузове! Курите, курите!

— Да Вам очень вредно, Е. В., я лучше пойду покурить. От Ольги Григорьевны мне попадет...

Он встает, идет к двери в соседнюю комнату, закрывает ее и хитро улыбается.

— Не бойтесь, я скажу, что я курил.

Лицо доброе, чуть озорное, омытое молодой улыбкой. И теперь, когда я пишу, как и тогда, когда мы вместе вводили в заблуждение Ольгу Григорьевну, я вспоминаю одну фразу, брошенную им во время какой-то из наших бесчисленных бесед. Эту фразу нельзя забыть, и я никогда ее не забываю и не забуду. Он сказал:

— Я совсем не чувствую никакого постарения. Скажу Вам больше — я не чувствую никакой разницы между собой восемнадцатилетним и теперешним... Как Вам покажется!!

Ему уже было за семьдесят. Тот, кто пройдет мимо этих слов, не поймет Тарле-ученого и не почувствует Тарле-художника.

* * *

Десятки исследовательских книг и сотни иных работ научного и научно-публицистического жанра знакомят самые широкие круги читателей у нас и за рубежом с блистательным наследием академика Тарле. Его научное и философское мировоззрение раскрывается во всю глубину в его наследии, и в мою задачу никак не входит интерпретировать идеи, лежащие в основе работ нашего замечательного историка. Эту задачу возьмут на себя другие, и как благодарна такая задача! Но судьба позволила мне приблизиться к Евгению Викторовичу Тарле. Я увидел его таким, каким могли его увидеть только очень немногие, а свыше сотни его писем ко мне — об этом я уже упоминал — дали не менее твердую опору для наблюдений над этим обаятельным и талантливым человеком. И я не мог побороть искушения и не сделать попытки систематизировать те черты его образа, которые мне довелось узнать.

Эта зарисовка — первый опыт такой систематизации. Это, конечно, не портрет, а только контуры портрета.

Контуры творческого облика Е. В., который был не только ученым с мировым именем, но и художником. У этого художника был собственный стиль, резко выделявший его из числа историков в научных монографиях и в исторической публицистике. У каждого опытного писателя — не только в области художественной литературы — есть своя манера письма. Но свой стиль имеют только крупные писатели, обладающие собственным, присущим только им углом зрения на предмет — безразлично, каков этот «предмет» — внешность человека или историческое событие. Е. В. Тарле потому именно и обладает своим стилем, что видит то, чего не видит другой, хотя бы и крупный историк. Образы, встающие со страниц исследований Е. В. Тарле, потому так врезаются в нашу

память, что в героях исторического процесса он рассматривает самые характерные черты человека и политического деятеля. Политическое лицо нарисованных Е. В. Тарле фигур остается в нашей памяти на долгие времена, сохраняя ту же выразительность, как и образы больших художников, которые мы помним благодаря их чутью в выборе характерных деталей.

С таким же чутьем подлинного художника Е. В. Тарле дает нам длинную галерею исторических лиц, которых я не стану здесь перечислять — мы хорошо ее знаем. Она навсегда осталась в русской исторической науке.

И навсегда осталось в русской исторической науке имя Евгения Викторовича Тарле.

Е. Л. Ланн. Евгений Викторович Тарле

Воспоминания известного литератора и переводчика, знатока английской литературы Е. Л. Ланна (1896—1958), дружившего с Е. В. Тарле в его поздние годы, были написаны вскоре после смерти историка, в 1956 г. В их основе лежат записи разговоров с Е. В. Тарле и письма Е. В. Тарле к автору, которые он обильно цитирует (местонахождение этих писем в настоящее время нам неизвестно). Машинопись очерка Е. Л. Ланна хранилась после его смерти у секретаря Тарле А. В. Паевской, с которой автор был в дружеских отношениях. После ее кончины в 1980 г. она, вместе с некоторыми другими материалами, поступила в Архив РАН и была присоединена к фонду Е. В. Тарле. Кроме того, в фонде Е. Л. Ланна имеются две тетради, озаглавленные «Портрет Тарле. Наброски», в которые Ланн записывал различные высказывания Тарле и свои наблюдения и соображения (РГАЛИ. Ф. 2210. Оп. 1. Д. 137). Обращение к ним позволило уточнить и расшифровать некоторые места печатаемых воспоминаний. Очерк Е. Л. Ланна публиковался с очень значительными сокращениями (примерно половина текста) в кн.: Проблемы истории международных отношений : сб. ст. памяти академика Е. В. Тарле. Л., 1972. С. 56—78.

Печатается полностью по машинописи: Архив РАН. Ф. 627. Оп. 6. Д. 53. Л. 35—105.

ⁱ Old fashioned — старомодный (англ.).

ⁱⁱ См.: Ланн Е. Литературная мистификация. М.; Л., 1930.

ⁱⁱⁱ Имеются в виду сестры Т. Г. Зенгер-Цявловская и М. Г. Зенгер-Ашукина, дочери филолога-классика Г. Э. Зенгера, старого знакомого Тарле.

^{iv} Сотрудник Эрмитажа Н. Г. Зенгер, отправленный в Беломоро-Балтийский лагерь, после освобождения жил в г. Александрове под Москвой. Вновь арестован в 1938 г. и расстрелян.

^v ОГИЗ — Объединение государственных издательств РСФСР.

^{vi} См. наст. издание. С. 164—256.

^{vii} ЦГБИБЛ — Центральная государственная библиотека иностранной литературы.

^{viii} Точные выходные данные: Тарле Е. В. Граф С. Ю. Витте. Опыт характеристики внешней политики. Л., 1927.

^{ix} Имеется в виду изд.: Евгений Викторович Тарле / вступ. ст. А. И. Молока. М. ; Л., 1949 (Материалы к биобиблиографии ученых СССР).

^x Ланн Е. Гвардия Мак-Кумгала : исторический роман. М., 1938; 2-е, испр. изд. М., 1951.

^{xi} Causer — собеседник (фр.).

^{xii} В машинописи ошибочно: 1214.

^{xiii} Causerie — беседа (фр.).

^{xiv} Ad hoc — к месту (лат.).

^{xv} «О галльской войне» (лат.).

^{xvi} Fichtre! — Ну и ну! Черт возьми! (фр.).

^{xvii} Очевидно, имеется в виду известная эпиграмма Пушкина «В Академии наук / Заседает князь Дундук...».

^{xviii} C'est mon cas — Это мой случай (фр.).

^{xix} En regard — рядом, параллельно (фр.).

^{xx} Genre — тип, вроде (фр.).

^{xxi} Цитата по памяти из поэмы Н. А. Некрасова «Современники».

^{xxii} Имеется в виду книга: Малкин М. М. Гражданская война в США и царская Россия. М. ; Л., 1939.

^{xxiii} Compote macedoine — смешанный компот, ассорти (фр.).

^{xxiv} Mon cher — мой дорогой (фр.).

^{xxv} A nice child, is it n't? — Прелестное дитя, не так ли? (англ.).

^{xxvi} «Я предлагаю Вам взамен другой сюжет» (фр.).

^{xxvii} sur le tour d'age — в старости (фр.).

^{xxviii} Monsieur est vraiment difficile — Месье трудный человек (фр.).

^{xxix} delirium tremens — белая горячка (лат.).

^{xxx} Общее собрание (сессия) АН СССР в Свердловске состоялась 3—8 мая 1942 г.

^{xxxi} Имеется в виду один из романов В. В. Вересаева.

^{xxxii} Романс, неоднократно цитируемый в произведениях Лескова.

^{xxxiii} Всемирный конгресс деятелей культуры в защиту мира состоялся во Вроцлаве 25—26 августа 1948 г.

^{xxxiv} Имеется в виду работа «Адмирал Ушаков на Средиземном море (1798—1800)».

^{xxxv} Тарле Е. В. О приемах буржуазной дипломатии // История дипломатии. М. ; Л., 1945. Т. 3. С. 701—764.

^{xxxvi} Crescendo — крещендо.

^{xxxvii} И. Л. Слониму принадлежит также скульптурный портрет на надгробии Е. В. Тарле на Новодевичьем кладбище в Москве.

^{xxxviii} См.: *Тарле Е.* Заметки читателя // Литературный критик. 1937. № 1. С. 207—216 ; *Томашевский Б.* За подлинного Пушкина (Ответ Е. Тарле) // Там же. № 4. С. 145—156 ; *Тарле Е.* Неловкие увертки // Там же. № 5. С. 44—49.

^{xxxix} См.: *Ланн Е.* Диккенс. М., 1946.

^{xl} high life — высший свет (англ.).

^{xli} Klavierabend — фортепьянный вечер (нем.).

^{xlii} Ein ganz nettes Gedichtchen — очень милый стишок (нем.).

^{xliii} Dixi — Я сказал (лат.).

^{xliv} Цитата по памяти из письма Салтыкова-Щедрина к А. М. Жемчужникову от 22 июня 1870 г. См.: *Салтыков-Щедрин М. Е.* Собр. соч. : в 20 т. М., 1965—1977. Т. 18, кн. 2. М., 1976. С. 47.

^{xlv} Галлицизм, по-французски morceau — кусочек, отрывок.

^{xlvi} Здесь и далее в аналогичном контексте имеется в виду жена Е. Л. Ланна, переводчица А. В. Кривцова, снабжавшая Е. В. Тарле английскими детективами.

^{xlvii} Дама слегка б... (фр.).

^{xlviii} Зеленая... зеленеющая (фр.).

^{xlix} nec plus ultra — дальше некуда (лат.).

^l St. Patric saucy Dean — Дерзкий декан собора св. Патрика (англ.).

^{li} Sex appeal, fornication — сексапильность, прелюбодеяние (англ.).

^{lii} «На разбитом корабле», «Мадмуазель Гортензия» (фр.).

^{liii} ejusdem farinae — того же теста, того же покроя (лат.).

^{liv} Impertinent black coat — здесь: рылом не вышли (англ.).

^{lv} heir apparent — прямой наследник (англ.).

^{lvi} Шприц для подкожных инъекций, изобретенный французским врачом Ш.-Г. Правацем.

^{lvii} Тес — сокращение от detective (англ., разг.).

^{lviii} «The Nook» — «Закоулок» (англ.).

^{lix} priceless — бесценный (англ.).

^{lx} «The Ringer» — «Зловещий человек», детективный роман Э. Уоллеса.

^{lxi} In the dark (in the ass-like stupidity) — во тьме (в ослепячей глупости) (англ.).

^{lxii} Имеется в виду книга: *Bell E. T.* Men of mathematics. New York, 1937.

^{LXIII} Речь идет о статье: *Марков М. А. О природе физического знания*
Вопросы философии. 1947. № 2.

^{LXIV} Имеется в виду С. И. Вавилов.

^{LXV} *ab ovo* — с самого начало (букв.: от яйца, *лат.*).

Научное издание

Тарле Евгений Викторович

РОССИЯ И ЗАПАД
Из неопубликованного и забытого

Составление, подготовка к печати, вступительная статья
и комментарии Бориса Соломоновича **Кагановича**

Редактор *Е. А. Гольдич*
Компьютерная верстка *Л. А. Шитовой*
Художественное оформление *А. П. Баклановой*

Согласно Федеральному закону
от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»
книга предназначена «для детей старше 16 лет»

Общероссийский классификатор продукции
по видам экономической деятельности
ОК 034-2014 (КПЕС 2008);
58.11.1 — Книги печатные

Подписано в печать 17.12.2020
Формат 60 × 90/16. Бумага офсетная.
Уч.-изд. л. 30,6. Печ. л. 33. Усл. печ. л. 33.
Дополнительный тираж 200 экз. Заказ 8754

Филиал «Чеховский Печатный Двор»
АО «Первая Образцовая типография»
142300, Московская обл., Чеховский р-н,
г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1
Сайт: www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru,
8(495)988-63-76, т/ф. 8(496)726-54-10

ООО «ДМИТРИЙ БУЛАНИН»
197110, С.-Петербург, ул. Петрозаводская, 9, лит. А, пом. 1Н
Телефон/факс: (812) 230-97-87
sales@dbulanin.ru (отдел реализации)
postbook@dbulanin.ru (книга-почтой)
redaktor@dbulanin.ru (издательский отдел)
<http://www.dbulanin.ru>

продолжает работу над исследованием
ней политике России в годы
Екатерины II.

а производится: А. В. Архиве Древней
в Москве (фонд канцелярии Т. А. Романов
Душань Екатерина - «кабинет»; фонд
могилархической переписки: «Англия»,
«Франция»; «Нидерланды»; «Швейцария»;
«Италия».

Б. Фонды Архива внешней политики (в
Москве).

В. Гос. Военно-морской Архив
(в Ленинграде)

Г. Центр. штабштаб. Архив
Ленинграде

В рукописн. отделе Ленинградского
Гос. архива в Москве и Ин-т. Библиотечн.
Академии Наук СССР в Ленинграде.

ISBN 978-5-86007-937-3

